

# КОРРЕКТОР

## Новелла

В этом крыле лифт никогда не работал. Можно было попасть в здание через главный вход, с улицы Рентгена, пройти через вестибюль, подняться на один пролет до бельэтажа, потом еще на девять ступенек к площадке, где зевают темными ртами три коротких неосвещенных коридора, пройти левым, в конце которого окно, подглядывающее за зубоврачебной поликлиникой, потом проехать на лифте на четвертый, потом спуститься пролет вниз, миновать двадцать темных метров до поворота, там лампа дневного света, еще раз подняться на пять ступеней и оказаться перед дверью на лестницу, по которой сотрудники ходят в кафе на первый этаж. Из этого кафе неведомыми сквозняками рассовывался по всем кабинетам и переходам запах стухшего лука. Никаких других запахов, кроме запаха стухшего лука.

Чертов лабиринт. По этой лестнице двумя пролетами вверх еще один вход в редакцию. С первого раза никто не находит. Объяснять бесполезно. Посетителей секретарша встречает у турникета, а потом ведет подобно Вергилию, но хихикая и извиняясь. Илюха как-то взял листочек в клетку и стал рисовать схему, чтобы понять, что проще: с лифтом, но в обход, или вот так сразу, как он делал в дни своих смен — останавливаясь на каждой площадке, вешая костыль на перила, сгибаясь и массируя ногу от колена и выше. Получалось, что одинаково. Он выбирал лестницу. Его обгоняли сотрудники редакции, как и он, предпочевшие лабиринту переходов отчаянный и скорый штурм пятого этажа. Некоторые здоровались, некоторые делали вид, что не узнают.

Он служил здесь третий год, с самого основания газеты, которую богатеи владельцы задумали разноцветным конкурентом популярному спортивному таблоиду. Он еще застал квартальные премии, разудалые корпоративные посиделки в Лосево и Коробицино, повышение зарплат и подарки «от руководства» на дни рождения. Все осталось в прошлом, вместе с надеждами владельцев заработать на рекламе. Владелец теперь появлялись в редакции раз в месяц на собрание. Говорили, что боссы ссорятся и делят бизнес. В мире закипал финансовый кризис. Начались увольнения. Коллеги бродили из кабинета в кабинет с унылыми физиономиями.

На третьем этаже Илюха делал привал, усаживался на широкий подоконник и смотрел во двор, где директриса парковала свой ярко-синий «дефендер». Директриса Илюхе нравилась. Она ничего не смыслила в футболе, не понимала в издательском деле, но была красива, и от нее приятно и дорого пахло. Когда она подъезжала, то из открытого окна авто раздавались звуки камерного джаза. Она недав-

---

Даниэль Всеволодович Орлов родился в 1969 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, геологический факультет. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Днепр», «Литература» и др., автор пяти книг прозы. Дипломант Волошинского фестиваля за рассказ «Счастливая жизнь победителя», лауреат премии им. Н. В. Гоголя за 2015 год за роман «Саша слышит самолеты». Длинный список премии «Ясная Поляна» за 2015 год. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член Русского ПЕН-центра. Президент фонда «Русский текст», издатель. Живет в Санкт-Петербурге.

но закончила бизнес-школу и приходилась родственницей одного из хозяев. По своим служебным обязанностям с директрисой Илюха не сталкивался, (слава богу, начальство не вникает в вопросы корректуры), а на лестнице всякий раз здоровался, она ему улыбалась, глядя в глаза, и это было приятно. Вот и сейчас он услышал вначале уверенный дробот подошв, а потом увидел ее, сосредоточенную, в модном плаще, с прической под платком, как на картинках в модном журнале.

— Доброе утро, — она всегда приветствовала Илюху первой.

— Доброе утро Ирина Михайловна, — Илюха чуть привстал с подоконника, — Хорошая погода. Настоящая осень, — женщина была лет на пять младше, но он называл ее по имени-отчеству, как и все в редакции, а она его просто по имени, как, опять же, все в редакции.

— Чудесная погода, Илья, чудесная. Не вставайте, отдыхайте, — она улыбнулась и поспешила дальше.

Он сидел минуты три, дожидаясь, когда яркая, сочная боль сменится свербящей, вдыхал эхо духов директрисы, тер щетину на подбородке (он привык бриться на ночь, любил ложиться спать с гладкими щеками, чтобы не шуршать щетиной о подушку, потому до утра успевал обрасти), кряхтел, вставая, и продолжал подъем. К пятому этажу джинсовая рубашка между лопатками, на груди и под мышками темнела от пота. Сразу за дверью сидела секретарша Инна. Она всякий раз бросала взгляд на эти пятна и морщила греческий носик: Клеопатра из рода Птолемеев.

Красивая женщина с сахарным мрамором плеч любовницы Цезаря морщила нос. Она тоже нравилась Илюхе, прошлой зимой он попытался неловко поцеловать ее на новогодней пьянке. Но, видимо, шансов против Бори Шаблинского, блестящего журналиста, красавца и бонвивана, у него не оказалось. У Бори было все, чего не было у Илюхи. У Илюхи не было машины, не было могучего, накачанного при помощи годового абонемента в спортзал торса, не было отдельной квартиры на Каменном острове и, главное, не было никаких перспектив. У Илюхи было лишь прошлое, в котором Илюха служил геологом на Полярном Урале, хромота, мама-пензионерка и полуторный оклад корректора. Для любви этого достаточно, а для секса маловато.

Илюха не привлекал женщин. Подвижное, чересчур асимметричное лицо, тучная, тяжелая фигура, опять же, хромота. Хромота добавляла Байрону трагизма, Тулуз-Лотреку удали, но Илюху лишала каких-либо шансов. Он свыкся с тем, переболел, оставался благодарен любым нетрезвым случайностям да истерическим свиданиям с замужней однокурсницей, все чаще заканчивавшимися слезами, ночным такси и многомесячным молчанием телефона.

«Когда ты наконец женишься, Илюшенька?» — причитала мама. Раньше она заводила разговор про женитьбу чаще и с надеждой в голосе, теперь все реже. В материнском желании счастья непутевому сыну она трогательно искала ему партию, знакомилась с миловидными продавщицами гастронома, с паспортистками из ЖЭКа, теми, что охотно пересказывали бедной женщине истории своих жизней, неустроенности, несчастливого материнства и встречали участливое понимание.

— Лиза — очень хорошая женщина, симпатичная, одинокая, у нее дочка в школу пошла. Воспитанная, деликатная, тоже хочет семью, — относительно издали начинала мать, когда они встречались за ужином.

— Ну и пусть замуж выходит, если хочет, — мрачно отвечал Илюха, заранее понимая, куда клонится разговор, и потому торопливо отхлебывал из чашки цикорий с молоком.

— А не любят мужчины, когда у женщины ребенок. Хорошего мужа найти сейчас проблема.

Илюха молча намазывал бутерброд и перелистывал страницу спортивной газеты.

— Я ей твою фотографию показывала, там, где ты в джемпере с галстуком, рассказывала про этот случай...

— Опять ты за свое! Какой «этот случай»? — вспыхивал Илюха.

— Ну, я рассказывала, что ты геолог, получил производственную травму, что работаешь, увы, не по специальности. Вот хочу пригласить ее в гости вместе с дочкой.

Илюха поднимался из-за стола, горько и со значением смотрел матери в глаза и, демонстративно хромая пуще обычного, выходил из кухни. Одиночество одиночеством, а подобные смотрины он себе представить не мог. Не дай боже такого унижения и глупости! Да и чем он может быть интересен «воспитанной и деликатной»? Ни работы нормальной, ни надежд. Вот сделает операцию очередную, — авось получится завербоваться по новой на севера, а там, глядишь, все само и сладится. Он верил в это.

Илюха уже несколько раз ездил в институт на Девятнадцатую линию Васильевского острова, беседовал над картой с будущим начальником о методах отбора шлихов. Начальнику он нравился: многого не попросил, был готов ехать в Харп к началу сезона и работать на камералке с мая по октябрь. Друзья тоже замолвили словечко, чтобы не без протекции. Оставалось самое тяжелое и самое дорогое — клиника. Начальник готов был ждать.

Мать все понимала, чувствовала, но разумела по-своему. С тех пор, когда ее Илюшка захромал сильнее и вновь понадобилась операция, ей казалось, что вот только возникнет рядом с сыном женщина, как сразу наладится жизнь. Пусть даже у нее будет ребенок, это даже и лучше. Дом вновь наполнится детским озорством. Смех, как лучший дезинфектор, вычистит по углам поселившиеся там тлен и отчаяние. И вновь запахнет пирогами. В доме должно пахнуть борщом и пирогами, а не болезнями и старостью.

По стенам в редакции, в тех кабинетах, где стояли столы редакторов, висели клубные шарфики. Их тут коллекционировали. Здесь все болели за «Зенит», потому что в Петербурге все болеют за «Зенит». Издание считалось федеральным, потому, не без омерзения, лишь чтобы соблюсти приличия, журналисты писали и о других командах. Все едино, про «Зенит», получалось в разы больше, нежели про «Спартак», «Локомотив» или, скажем, «Рубин». Наверное, поэтому газета плохо продавалась в Москве, да и московские нувориши не торопились нести в нее свою рекламу.

Рассказывали, что директриса на собрании собственников, комментируя возникающие на экране проектора графики и диаграммы, пыталась убедить главного редактора, что для успеха издания хорошо бы сократить количество материалов, посвященных петербургской команде, и увеличить количество материалов, посвященных командам других городов, особенно тех, в которых были коррпункты газеты. Но на нее наорали и пригрозили, что отправят продавать не рекламу, а замороженные куриные окорочка. Сотрудники редакции, хихикая, передавали друг другу как сплетню: «Слышали? Бульдозер пообещал Иринку отправить торговать мороженой курой».

Бульдозером в редакции называли Семена Булдоева, основного владельца газеты, банкира и личного друга губернаторши. Не в пример директрисе Бульдозера в редакции уважали. Был он вхож во все спорткомитеты, арендовал на постоянной основе вип-ложу на «Петровском» стадионе, куда приглашал известных актеров и политиков. По слухам, ему принадлежали акции многих футбольных клубов, от «Зенита» до «Manchester United». В футболе он разбирался, любил, и газета была для него приятной игрушкой, поводом для разговора с важными людьми.

Кстати, если бы не Булдоев, Илюха в штате не оказался. Они познакомились много лет назад, когда лежали в одной палате Института ортопедии. Илюхе собирали ногу после падения со снежника, а Булдоеву сочиняли заново шейку бедра после скоростного спуска с полка в сауне по пьяному делу. Вначале Булдоев ругался и требовал отдельную палату, но когда палату подготовили, переезжать отказался. К тому времени они уже нарушили с Илюхой режим, выпили по сто коньяка, и Булдоев, полулежа в гипсе, слушал Илюхины рассказы про тучи, застревающие на плато хребта Райиз, вездеходчиков, жалеющих машины и потому не ездящих трезвыми по горным дорогам, про нормы выработки на поделочных камнях. Но пуще про верткого, радужного хариуса, которого ловят по перекатам на мушку, свернутую из волос, срезанных с лобка любимой женщины.

— Это мой друг-геолог, он упал с ледника, — представлял Булдоев Илюху своим многочисленным посетителям. Илюха делал героическое лицо и уточнял, что не с ледника, а со снежника.

— Нет-нет, ты послушай, он сейчас расскажет, — и Булдоев в очередной раз просил Илюху повторить историю попадания в больницу. Илюха рассказывал, а Булдоев, уже зная перипетии повествования, то и дело акцентировал внимание слушателя: «Вот-вот, сейчас будет» или «Не-не, ты сейчас послушай! Каково?!»

Булдоев щедро башлял на съемки какого-то кинобоевика, и к нему стремились нескончаемым карнавальным потоком режиссеры, сценаристы, актеры и актрисы. Анна Самохина, в которую были влюблены все бичи от Лабытнанг и до Сейды, от Сыктывкара и до Воркуты, Аня Самохина с глазами серны вот так запросто сидела на краю Илюхиной кровати и слушала. А он рассказывал про сердце, что колотится под фланелькой, только выходишь на водораздел и видишь полосатое и счастливое поле карликовой березки: «Зеленая полоска у опушки, желтая от реки до скал и красная на самом перегибе. И как туман... Ах... Туман...»

— Илюшенька, выздоравливайте, и я выйду за вас замуж.

— Я уже иду на поправку, Аня. Еще месяцок, и все.

Когда Илюха пришел по объявлению наниматься на должность корректора, его брать не спешили, соискателей хватало. До того он отчаялся устроиться по специальности, геологов везде сокращали, сокращенные оставались на прежних местах, заключив срочные договора за символическую плату и надеясь заработать в летний сезон. Илюха на полставки подрабатывал вахтером в управлении метрополитена, гардеробщиком на конфетной фабрике, но денег на операцию все равно откладывалось ничтожно мало.

Хотя тестовую полосу Илюха исправил «на отлично», главному редактору соискатель не понравился. И профильное образование отсутствует, и карьера сомнительная: какие-то научные издания, нет опыта работы в периодической прессе. Еще и инвалид. Черт знает что с этими инвалидами, а вдруг как разболеется совсем? А если специальные условия труда себе затребует да по судам пойдет, так не уволишь такого. И когда редактор уже почти окончательно решил для себя, что откажет этому толстому хромому мужику, в кабинет вошел Бульдозер и, увидав соискателя, обрадовался:

— О! Геолог! К нам на работу? Кем?

— Корректором, Семен Исакович.

— Прекрасно! — и уже обращаясь к главному редактору: — Ты его берешь?

— Беру, конечно! Хороший специалист, с опытом, ответственный, такие на дороге не валяются, — бодро соврал главный редактор.

— Вот и правильно. Он герой! Илюха, ну-ка расскажи этому жирному ленивому еврейку, как ты с ледника упал!

Илюха без особого энтузиазма в сотый раз повторил историю своего падения по снежнику, как поскользнулся на корке льда, которая образовалась на тропе в том месте, где ее пересекала тень от скалы, как ветер свистел в ушах, когда скользил он на спине вниз к обрыву, напрасно пытаясь затормозить резиновыми набойками на подошвах унт, как думал, что «все, вот и хана», как, вертясь вокруг своей оси, поменял траекторию, чтобы с хрустом впечататься в торчащий из снега огромный камень. Будьдозер кричал от удовольствия узнавания.

— И про то, как тебя на палатке несли три километра прямо по горам расскажи! Это же чума полная! — и уже обращаясь к главному редактору: — Вот, Аркаша, какие к нам кадры приходят! Мы с такими кадрами руду дадим. Это тебе не сопляки журналисты, это, Аркаша, бойцы, люди, прошедшие серьезную жизненную школу, люди принципов. Таких сейчас не делают, такие остались в нашем с тобой прошлом, когда ты штангу свою тягал, а я по рингу в трусах прыгал.

«Блатной, — подумал про себя главный редактор, когда за Илюхой закрылась дверь, — опять блатной. Все тут по блату, все друзья-родственники. Да ну и хрен с ним».

Илюха эту вторую, корректорскую, специальность не жаловал. Пришла она к нему случайно, когда в годы работы инженером второй категории все в том же геологическом институте на Васильевском острове помогал готовить монографии для печати. Он обладал уникальной, врожденной грамотностью, по рисунку букв находя искореженное, неправильное написание слов, замечая занозы необязательных запятых, суету притяжательных местоимений, чередующиеся по прихоти рассеянных авторов гласные. За пару дней он освоил методичку стандарта «семь шестьдесят два тире девяносто» по употреблению корректорских знаков, напоминавших пляшущих человечков из рассказов Конан-Дойла. После Илюхиной правки страницы казались прошитыми очередями из пахнущего горелым веретеночным маслом ствола того самого калибра, семь шестьдесят два. Верстка кровоточила красными чернилами.

Но как прикажете серьезно относиться к такой работе? Ерунда это все, не требующая квалификации, только внимания и усидчивости: школьные добродетели. А он геохимик, хороший геохимик, полевик. Он может походную лабораторию за несколько минут развернуть, он элементный состав по любому шлиху еще до лаборатории нарисует, он по самой запутанной карте разрезы составит. Его хорошо учили старики, которые еще помнили, что такое маршрут с отбором проб. И если его не оставили на кафедре в аспирантуре, это было только его решение.

Он уже не мог дожидаться защиты диплома, рвался «на землю», в поле, в работу, в самую великую трудность, туда, где снег до июня и снег с сентября, подальше от академической расслабухи кафедрального буфета, в которой глазированной полоска, двойной кофе из огромного горячего гэдээровского аппарата со стоящими вверх донышками стаканами, и у каждого либо желтая, либо зеленая, либо красная кайма-полоска и обкусанные края. Подальше от запаха сжигаемой листвы из университетского ботанического сада, от дыма кафедрального сачка, где свои тонкие коричневые сигареты курит однокурсница Лариска, не его единственная Лариска.

Главное, чтобы подальше от нее. Ее невозможно любить вечность. Пока он был в армии, она ускакала на два года вперед по программе и уже почти кандидат наук, (даже предзащита назначена), и у нее уже дочь, которую зовут Марина, и она уже развелась с Осаткиным и уже собирается второй раз замуж, и опять не за Илюху...

Через пятнадцать лет она будет даже не старший преподаватель, а доцент, но такая же, как раньше, худенькая, с прозрачными руками в сеточку вен, торчащими из рукавов полосатой блузки.

Ах, как он целовал эти руки, веснушки, белые шрамы на запястьях! Прижимался веками к сухим ладоням в те пять дней неожиданного армейского отпуска, которые он вспоминал потом всю жизнь. Всю свою жизнь, каждый день этой жизни он помнил, как ходили по квартире, запутанные в полосатые простыни с клеймом «МПС», а на магнитофоне играл Колтрейн, которого не любил Илюха, но любила она. Она любила Колтрейна, Диззи Гиллеспи и Майлза Дэвиса.

— Я хочу послушать дудки. Мы можем послушать дудки?

И целые сутки, с трех часов утра, когда безумное ленинградское солнце выползало в погоню за баржами из-за Володарского моста, и до часа ночи, когда оно пряталось за крышами Ржевки, по квартире солнечными зайчиками перекатывались блестящие звуки духовых инструментов оркестра Майлза Дэвиса. Она пила бутылочное пиво прямо из горлышка, сорила пеплом в постель, а в окно неприлично сладко дышало липой, и через пять дней нужно было отпартовать в штабе воинской части города Липецка о прибытии из отпуска.

— ...Прибыл из краткосрочного отпуска на родину. Взысканий наложено не было. Готов приступить к воинской службе.

Нет! Не был он готов ни к какой службе. Он был готов только к служению, к поклонению этой маленькой голой худенькой девочке с каштановыми волосами, уложенными в прическу «итальянский каскад». И он пил ее, как пьют вино для евхаристий по маленькому глоточку, шалея от терпкости и Господней благодати.

— Какой ты огромный. Ты больше меня в три раза. Не боишься, что раздавишь?

Он брал ее на руки и носил по квартире, показывал свою удачу, подбрасывал к потолку и ловил. Она визжала. Он, словно ребенка, держал ее долго-долго, чуть покачивая, пока не заканчивалась кассета, тогда он осторожно клал ее обратно на диван, целовал длинные в мягкой рыжей щетинке пальцы ног, шел к магнитофону, доставал кассету, переворачивал, шел к клавишей воспроизведения и вновь возвращался к ней.

Деликатная мама, как бы ей ни хотелось видеть сына, уехала на все пять дней краткосрочного отпуска на дачу и вернулась лишь накануне отъезда, чтобы собрать в дорогу продукты.

— Ты счастлив, сынок? — спросила она его, когда он стоял в тамбуре.

— Ну, ты даешь, мать, с такими вопросами. Ладно, иди, уже отправляемся.

В редакции с самого утра говорили о новой должности «директор по развитию». Под этого директора накануне освободили кабинет, раньше занятый рекламными агентами, затащили внутрь огромный рыжий стол с блестящими стальными ножками и высокое кожаное кресло. Директор уже вышел на службу и сейчас был на совещании у Иринки. Они там что-то решали за закрытыми дверями. Поговаривали, что они учились вместе в бизнес-школе.

Это директрисса придумала, что нужен директор по развитию, что все издательство надо поделить на департаменты, согласно функциям, как учат в бизнес-школе. Красивая женщина истово верила, что, пересаживая сотрудников лицом к стенам, спиной к проходу, крася стены курилки в оранжевый и салатный цвета, она создала, складывая гармонию из хаоса должностных инструкций сотрудников, а не просто разогревала вселенную во имя чужой прибыли. Но только совсем юные сотрудники не видели за тем пошлости и распада всего этого лживого мира, давно забытого, за каким чертом он был создан из глины, соломы и слов.

Илюха скучал на собраниях, где говорили про «показатели трудового участия» и «рекламную привлекательность материалов». Он радовался, что от него зависит, лишь насколько окажется понятен читателю текст на второй полосе: «Пора рас-

крыть свой потенциал в команде, которая уже несколько сезонов подряд уверенно борется за первое место. Помимо этого есть задача в сборной, которая сложнее. В сборной ярче психологическое давление, ответственность, известнее и статуснее партнеры-конкуренты. В то же время, когда вокруг высококлассные игроки мирового уровня, это помогает раскрываться. Важно показывать не только технику, но и способность тактической игры внутри команды. Надо посмотреть, что Аршавин, для начала, продемонстрирует в чемпионате России, а потом сравнивать и оценивать. Одно дело — игра в необязательный европейский футбол, совсем другое дело — прямая ответственность за преданных болельщиков клуба». В его функции с тех пор, как сократили должность литературного редактора, входила еще и правка стиля. За это ему вначале вдруг выдали премию в размере оклада, а потом начисляли дополнительную четвертинку ставки корректора. Премию он сразу потратил, купив годовой абонемент на все домашние матчи в десятый сектор, а дополнительную четвертинку аккуратно откладывал на операцию.

Он любил футбол. Любил футбол самозабвенно, с малых лет, пока еще был жив отец. Он отправлялся в долгое путешествие к отцу, с Охты и до проспекта Стачек, где тот поселился после развода с матерью. Он ехал в полупустом воскресном троллейбусе через мост до лавры, положив на колени сумку с надписью «Олимпиада-80», в которой сделанные матерью бутерброды с колбасой на двоих, помидор, два огурца, соль в круглой жестянке из-под валидола, перочинный ножик, плоская бензиновая зажигалка и очередная книжка в пластиковой обложке с аккуратно выведенными шариковой ручкой надписями «АВВА» и «Зенит». Пересадка на «Маяковской», долгий подземный переход, шаркающий и кашляющий, стертые ступени вестибюля «Площади Восстания», запах дегтя и электричества. И вот уже «Нарвская», он считал фонари на эскалаторе. На «Нарвской» ламп было меньше, чем на «Площади Александра Невского». Отец встречал его на выходе, бросал окурок в урну, и они шли в пышечную, где набирали целую гору румяных, пропитанных маслом горячих пышек и уписывали их за столиком на высокой ножке, до которого он вначале только дотягивался носом, через пару лет уже мог класть на столешницу подбородок, а потом и локти. И вот они садились вместе на тридцать четвертый трамвай на кольце у Нарвских ворот и ехали через весь город на стадион имени Кирова, где продавались лимонад «Саяны» и пиво «Мартовское». На трибунах еще за полчаса до начала кричали и улюлюкали болельщики, а в небе над стадионом сухое облако закручивалось в косичку, похожую на стрелку компаса, указывающую куда-то за Кронштадт. Илюха пил лимонад и гадал на победу по этому облаку: если разорвется посередине, то наши проиграют, если нет — наши выигрывают. Отец пил пиво в открытом буфете, сдувая пену в кусты с круглыми шариками, которые они в школе называли «хлопок», от того, что, если наступить на шарики, раздавался яркий, громкий хлопок, а на асфальте остается маленькая лужица со смятой ягодой. Белая пена и белые шарики на красных прутиках — вот что такое футбол его детства.

Он помнил все матчи. Он, как и отец, привык записывать. Садился перед телевизором с маленьким блокнотом, устанавливал на металлическом браслете наручные часы «Полеет» с тонкой стрелкой, сверкающей секундами. Он отмечал остро заточенным карандашом каждую удачную передачу, каждый офсайд, каждый штрафной, каждую контратаку. Раньше в киосках продавались брошюры на скрепке со статистикой по матчам чемпионата страны. Такие брошюры хранились и у него вместе с блокнотами, заполненными лично. Зачем он это делал? Сложно сказать, но это казалось важным. В конце концов, не самое опасное хобби.

Он знал все про футбол, но лишь правил чужие тексты, не находя в том радости. Писать про футбол ему не позволил главный редактор. У того хватало авторов.

— Ты кто такой? Ты журналист? Может быть, футболист? Мастер спорта? Выпускник Института имени Лесгафта? Запомни, Илья, пусть ты хоть трижды знакомый Булдоева, но тот, кто не провел часть жизни в раздевалке, не имеет права писать о спорте. Занимайся работой, которая прописана в служебной инструкции, не навлекай на себя гнев божий, наш страшный ветхозаветный божий гнев. Мы здесь собрались не для того, чтобы доказывать всем и каждому, кто умней — мы уже тут.

Он занимался корректурой. Он аккуратно вычитывал тексты, правил верстку, покрывая пять столбиков красными пляшущими человечками. Он рисовал свою подпись на макетах. Он пил горький кофе, приготовленный в итальянском кофейном аппарате, и в ожидании новой порции работы из отдела верстки смотрел в окно. Там огромные кленовые листья, ахнувшие от ночного заморозка, откалываются ветром от узловатых веток и, кружась чайниками, опускаются на дно черного в лужах стакана двора, на грязно-коричневые ящики с инвентарем, как на кубики сахара. А на крыше синего «фрилендера» директрисы их набралось уже достаточно, три десятка липких и мокрых желтых клякс.

Подписав макет, покурив с коллегами, собирал со стола карандаши и ручки в чашку с картинкой «I love Istanbul», подаренную секретаршей, той, что целуй не целуй, все напрасно. Илюха надевал кожаную, приятно потертую куртку, снимал с вешалки костыль и степенно спускался по лестнице, чтобы покурить на крыльце с теми, кто так же, как и он, закончил смену.

Илюха любил эту дорогу-строчку от улицы Рентгена до «Горьковской», через дворы, вкрест тротуарам и проезжей части, мимо раскрытых в осень окон со стынущим на подоконниках супом, скабрезязщим в осень вареной капустой и консервированной рыбой, вдоль серых окон военного училища, где курсантики с тонкими шеями подметают длинными ведьминскими метлами Малую Пушкарскую.

В гастрономе на углу Большой Монетной и Малой Монетной Илюха вытрясал из кармана мелочь, покупал бутылку пива и шел дальше еще медленней, от глотка до глотка, через Мира, до перекрестка с Дивенской, где курил-смотрел-дышал в осень. Потом через скверик, мимо детской площадки с аляповатой горкой, мимо садика «Ленфильма», мимо памятника Горькому, в любое время года держащему шляпу в руке, через Кронверкский и до памятника «Стережущему». Там вновь закуривал, опершись на костыль, и ждал сорок шестого автобуса, пахнущего соляной и джинном-тоником из полупустых банок в руках студентов, дребезжавшего железками о пластик и ведомого дремучим узбеком, знающим по-русски только «оплачивайте проезд» и «не задерживаться при выходе». Смешной узбек, похожий на Маматова в его липецком взводе. Может быть, это даже тот самый Маматов. И пусть так. Путь даже и Маматов. Он не сделал ему ничего плохого, не заставлял стирать подшиву и гладить пэ-ша. Он делился с ним чаем и конфетами, аккордами «Машины времени» и чистыми конвертами. Он уже собирался домой. Ему было все равно. Ему было некому писать. Лариска вышла замуж за Осаткина, живущего в огромной квартире с окнами на Соловьевский садик и обелиск с надписью «Румянцева победам». У них была исполинская спальня с темными полосатыми обоями и кроватью, на которой размножились пять поколений Осаткиных. И хотел размножиться сам Осаткин. Зачем дембелю конверты, если его девушка вышла замуж?

Он доезжал на автобусе до площади Пролетарской Диктатуры, то есть до входа в Смольный, переходил вброд устье Суворовского проспекта и направлялся к Охтинскому мосту, чудесному в любую погоду. Почти не хромая, Илюха шел сквозь фермы моста, всякий раз твердя скороговорку-считалку, принятую у детворы их двора: «Охтой лохмы, ох ты — кто ты? Плоходохать — на выходь. Поменый за так рубль на пятак». От Таллинской улицы и до Полюстровского знали эту



считалку. Правый берег Невы играл в свои игры не на «эники-беники». Прятки здесь назывались «стукалки». Он закрывал глаза, прислонив локоть к стенке трансформаторной будки, и считал до сорока. И за эти сорок счетов можно было представить себе свою будущую жизнь, свои собственные сорок, длинный зеленый Плимут, такой, как в соседнем дворе, кожаную короткую куртку, голубые подвернутые джинсы и ботинки желтой кожи. Так должно было выглядеть будущее. Так, а не с костылем и пешком через Охтинский мост, который теперь называется именем Петра Великого, именем, которым теперь называется в этом городе все, начиная от водки и заканчивая, кажется, метрополитеном.

Весной Лариска приехала к нему совсем пьяной. Он три часа выгуливал ее по набережной, по дворам, сидел с ней на скамейках. Ее тошнило. Он уже опять сильно хромал, она была замужем в третий раз. Она признавалась ему в любви и тут же просила не верить ни слову. Илюха жалел ее, но никак не мог взять в толк, зачем не оставил всю эту историю в уютной каптерке в Липецке, вместе с пачкой писем, перевязанных черной резинкой. Почему не сжег в печи? Почему он тащит эту любовь на своем усталом позвоночнике через всю жизнь, от дня вручения дипломов, когда они поехали в общагу в Петергоф, а потом голыми ныряли ночью в Финском заливе, до того дня, когда он вынырнул из-под наркоза и увидел Ларискино лицо прямо над своим. Она проверяла, дышит ли он. Он дышал.

А теперь они стояли на набережной, а мимо проплывали баржи, и трюмы их были полны той же водой, что плескалась за бортом. Илюха курил, а между затяжками Лариска хлестала его по щекам. Он курил одну сигарету за одной, а она продолжала награждать его пощечинами, звонкими, большими ударами сухой ладонью. Просто так. И она кричала:

— Тебе надо было тогда сдохнуть! Мертвец! Бесчувственный тупой мертвец!

А потом с красными оцарапанными щеками он ловил такси, диктовал водителю адрес, помогал ей забраться на переднее сиденье, пристегивал, уворачивался от попытки поцеловать или опять ударить, закрывал дверь и смотрел, как за стеклом она беззвучно ругается и показывает неприличные жесты.

Он давно вырос и повзрослел. Но ему с собой было не так занятно, как если бы он оставался все тем же мальчишкой из тридцатки — математической школы на «Василеостровской». Тот парень был интереснее нынешнего унылого корректора. После тридцатки он должен был пойти на физический факультет и стать ядерным физиком. Должен был, но не прошел медкомиссию, а на геологический пошел. Абсурд. А все дядька, брат матери, который подарил однажды маленькому Илюхе набор «Юный геолог» — коллекцию минералов: каждый минерал в отдельной коробочке с названием. Сокровище! Если не физиком, то геологом. Кем еще, если некем?

А теперь он просыпается ради того, чтобы потратить шестьдесят восемь минут своей никчемной жизни на дорогу туда, где его труд так же не обязателен, как и он сам. И возвращаясь домой, он выпивает сто пятьдесят грамм водки «Санкт-Петербург», или водки «Охта», или какой еще другой водки с названием, похожим на собственный адрес, и ложится на диван, чтобы почитать книги, взятые в библиотеке, что на первом этаже его дома.

Он вздохнул, возвращался на кухню, доставал из холодильника початую бутылку и вновь уходил к себе, плотно прикрыв дверь.

Наверное, Лариска права, нужно было остаться в девяносто третьем. Не стоило тормозить, вертеться, менять траекторию. Его позвали с собой небесные геологи, ушедшие раньше в невидимую партию, ту, что ведет изыскания от Арктического шельфа и до предгорья Саян. Он слышал о том. Все слышали. Невидимая партия.

Та, что не принадлежит ни одному рудуправлению, не приписана ни к одному институту. Легенда. Но когда Илюху несли на развернутой палатке топографы из их конторы, бич-сезонник и два буровика, он чувствовал, как светится, бликует в темень и синеву космоса нечто за восточными отрогами Райиза, в той стороне, где Обь. И это были не фонари железнодорожной станции Лабытнанг, и не прожектора причалов Салехарда, а край огромной синклинали воли, место перегиба истории и времени, поле напряженности, не регистрируемое приборами живых. Это работа для небесной партии: картировать, выставлять вешки и вкапывать столбы, которые ангелы, назначенные летать над севером, видят в вечности как демаркационную линию огромного угрюмого племени, живущего в расчерченных по линейке северных городах и поселках. И жизнь тех поселков началась от палатки топографов на границе рудника и закончится с последним безымянным бичом, садящимся в общий вагон проходящего дизеля ветки Лабытнанги—Сейда. Но у того бича в кармане ватника с эмблемой-поплавком «Мингео СССР» на рукаве уже будет лежать сложенная в восемь раз миллиметровка с аномалиями человеческого упорства и духа. Карта мест, где напряженность поля заставляла стрелки тяжелых геологических компасов крутиться, словно бы полюс рухнул всеми своими девяноста градусами северной широты на остова палаточных лагерей отрядов, ушедших во след небесной партии, на сплав, по холодной, колючей волне, от верховий Кожыма и аж до тяжелых вод Печоры.

С Бородой Илюха столкнулся в курилке (одна стена оранжевая, вторая — салатная, красный кожаный диван из «Икея», аквариум). Они учились на одном курсе, пусть и на разных кафедрах, вместе призывались в армию, вместе ушли на дембель. Борода, профессорский сын, всегда был пижоном, но сейчас выглядел добротнo и дорого: ботинки на кожаной подошве, костюм тонкой шерсти с приталенным по моде пиджаком, из рукавов выглядывают крахмальные манжеты с запонками белого золота, галстук со сложным узлом, аккуратная прическа. Так стригутся молодые, но если в голове достаточно своей седины, смотрится еще лучше.

Они схватили друг друга за руки, за локти. Обнялись.

— Когда Ирка сказала, что в лавке бывший геолог, да еще и хромой, сразу понял, что ты, — Борода улыбался, форся скульптурным совершенством стоматологии, — ты и в юности футбол любил. Как нога?

— Нормально.

— Луком у вас тут воняет, — расхохотался Борода. — Как вы терпите, не пойму.

— Ничего, принохаешься — перестанешь замечать.

Борода ушел из профессии одним из первых и по своей воле. Бросил недописанную диссертацию, оставив кафедральных дев в растерянности разгребать рукописные каракули планов и тезисов своих лекций. Ему прочили блестящее будущее в геоакустике, он входил в какие-то межфакультетские комиссии, отправлялся делегатом на конференции, приглашался участвовать в сборниках и журналах. Но вдруг все отринул, заперся отшельником на даче деда-академика, перестал приходить на собственные лекции и после трех месяцев уговоров вернуться написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он пошел в кооператив, заработал по тем временам сумасшедшие деньги, торгуя чем попало, потом организовал рекламное агентство и зажил в свое удовольствие, широко и щедро одаривая друзей вселенской халявой валившегося на него неучтенного никем бартера.

Илюха еще бегал по Васильевскому острову без костыля, собирая по кафедрам и институтам списанное оборудование для своей лаборатории в Харпе, а Борода уже вальяжно прогуливался по длинному университетскому коридору с «Marlboro» в зубах, в светлом плаще и с полиэтиленовым пакетом, в котором булькали две литровые бутылки водки «Absolut» и стучались о рифленую тонкую жест консервированных деликатесов. Каждую пятницу он приезжал сюда, словно в клуб.

В Минералогическом музее, окна которого выходят на Неву, на Исаакий, на шпиль Адмиралтейства, во все времена по традиции, заведенной не то Докучаевым, не то самим Вернадским, по пятницам принято тематически выпивать. Не всерьез таясь от деканатских, здесь разводили еще в менделеевских мензурках спирт-гидрашку, получаемую раз в месяц на хозяйственные нужды, и поднимали тосты за науку. Всякий раз за нечто конкретное. Например, «за теорию геосинклиналей» или «за изоморфизм», а то и вовсе «за редукцию Буге». Между тостами говорили о ближайших защитах, о подготовке к практике, об изменениях в методичках и тому подобном университетском. Петь под гитару или обсуждать результаты футбольных матчей считалось дурным тоном. Здесь любили то, чем занимались, это и казалось самым интересным, служило и отрадой, и поводом.

Илюхе, уже не имевшему прямое отношение к факультету, уже ушедшему «на производство», тем не менее не возбранялось здесь появляться. Своих отличали по обреченной преданности делу, по тому, как вроде поперек здравого смысла, поперек глупому их времени живут работой и послушничеством у науки. Однако и «расстригу» Бороду не гнали. Что же его гнать, когда у него сумка ломится продуктами и выпивкой. Понимает свое место в этом табеле. Платит сполна.

Достаточно было пройти по растерявшему студентов пятничному университетскому коридору, где за стеклом древних книжных шкафов тускло отсвечивает золото пухлых переплетов бюллетеня Берлинского минералогического общества, а потом позвонить условным звонком в крашенную белой краской высокую кафедральную дверь. Кто-нибудь из местных открывал, если признавал в госте своего, просто поворачивался и возвращался к остальным, предоставляя вошедшему право самому закрывать за собой капризный двухсотлетний английский замок и потом в темноте идти на звук голосов по кафедральным закоулкам.

Кроме минералогов, в музее всегда было полно геохимиков, кристаллографов, захаживали геофизики. Аспиранты, доценты, профессора или лаборанты — все оказывались вовлеченными в общий разговор на равных правах, как адепты иного тайного общества, где мера добродетели — только любовь к своему делу, которую никак не посчитать. Потому не было и нет среди них ни старших, ни младших в этой любви, а лишь равные.

Перед последним своим полем, в июне девяносто третьего, Илюха тоже заехал в музей. Назавтра партия садилась в прицепной воркутинский вагон поезда Санкт-Петербург—Котлас. Допоздна Илюха с коллегами загружал оборудование в контейнер на товарной станции и приехал только около одиннадцати. Белые ночи были в самом разгаре, солнце ломилось в окна, выходящие на Неву, но большинство народа уже разошлось. Накануне защитился Иван, их с Бородой однокурсник. Он сидел в глубоком продавленном кресле, принадлежавшем когда-то профессору Иноземцеву, пил пиво из горлышка и устало рассказывал о вчерашнем. Он пока находился в эйфории защиты, но эйфория уже не давала сил, а только дергала его за привязанные к суставам ниточки, сцеживая по жилам от сердца и до кончиков пальцев скудное электричество. Напротив, на кафедральном диване, между Бородой и Осаткиным, сидела Лариска. Осаткин слушал Ивана и старался не замечать, как Борода гладит коленку его бывшей жены.

Увидев Илюху, Лариска вскочила, бросилась к нему на шею, потом повернулась к остальным и заявила, что решила выйти замуж за Илью. Что они поженятся, когда Илья вернется с поля, что на первых порах будут жить у Осаткина.

— Осаткин, ты не возражаешь? У тебя огромная квартира, мы ведь не помешаем, зато дочка какое-то время будет с тобой, как того и хотел.

Осаткин скривился и промолчал. Илюха видел, что Лариска пьяна и паясничает. Это ему не понравилось. Он отшутился, походил по залу, постоял то в одной, то в другой компании и засобиравшись домой. Борода вышел вместе с ним.

— Поздравляю! — сказал он, когда они перешли проезжую часть и медленно дрейфовали по набережной к остановке троллейбуса.

— С чем? С тем, что Лариска якобы за меня выходит?

— С тем, что решил не оставаться в университете.

— А, — отмахнулся Илюха, — не великий подвиг.

Он и вправду не видел повода для гордости.

— Когда зовут в аспирантуру, не идти в нее — это подвиг. Правильно! Надо жить. Надо отрывать и лететь. Универ — это слишком уютно, слишком спокойно и навсегда. Ты — молодец. Все держатся за школу, словно здесь единственное место, где не захлестнет потопом. А нужен не ковчег, нужен челн, нужен парус! Нам открылись неведомые отцам возможности, то о чем они не только не мечтали, а что не могли себе представить. Хочешь — Южная Африка, хочешь — Австралия, Индия, Норвегия. А можешь бросить к чертовой матери всю эту хе...ю и организовать страховую компанию или банк. Банк, Илюха! Слабо стать банкиром?

Но Илюха не хотел страховую компанию и банк. Он хотел завтра лечь на верхнюю полку и открыть томик Честертона, а на станции Сейда, где им придется спешно выгружать вещи, чтобы сесть на дизель Чум—Лабытнанги до Харпа, купить огромный плоский нарезной батон и разливное молоко. И чтобы полевые шли в полном объеме и вовремя. И чтобы погода в этом году сдавала карты поровну, хорошо перетасовав календарь, а не как в позапрошлом, когда половину сезона жарило солнце, а половину шел дождь, не прекращаясь и на пару часов. Хотел он, чтобы Лариска вышла наконец замуж за Бороду или за Ивана и уехала с кем-то из них в Австралию, или Южную Африку, или какое еще невозможное далеко, откуда звонить ему будет так дорого, что почти невозможно. А отец его, Илюха знал, думал и мечтал о самой простой вещи — о том, чтобы вернуться к матери. Но не смог вернуться, она его не позвала, и потому он умер за год до Илюхиного выпуска один-одинешенек в маленькой комнате коммунальной квартиры на углу проспекта Стачек и улицы Трефолева.

И теперь, спустя пятнадцать лет от того вечера, Борода, одетый в пижонский костюм, ставший пусть не банкиром, но каким-то очень важным директором, трясет ему руку, обнимает, заглядывает в глаза, хохочет и предлагает посидеть нормально, чтобы поговорить за их профессию и вспомнить тех, кого уже нет: «Не сегодня. И не завтра. А в пятницу. Пятница — это джинс-дэй. У вас есть тут джинс-дэй? Ты не знаешь? Дурачина! Ты совсем не изменился, Илюха! Здесь недалеко есть хорошая пивная. Я закажу столик».

— Горный чеснок! Да-да! Такой тоненький, пахучий, с сиреневым венчиком соцветия. А ты помнишь, как шли вдоль восточного склона Райиза по долине этой чертовой Макар-Рузь и жевали стебли дикого чеснока? — Борода опрокинул стопку, запил пивом из тонкого бокала с надписью «Lowenbrau» и посмотрел на

Илюху. В его глазах стояли слезы. Хлопала дверь в уборную, качался табачный дым. Они сидели в кафе уже три часа.

— Подлая, лживая мерзота! — Борода поморщился, словно от кислого. — Ведь все начиналось прекрасно: плейки, кипятильники, домино, иголки для швейных машинок и командирские часы в Польшу, обратно сумки с китайскими пуховиками. А запах, запах виргинского табака как запах свободы, туман равенства, дым братства. Ха-ха! Мы еще не знали, что остались только слова, что уже до нас все конвертировано в ценные бумаги, размещено на бирже, торгуется и приносит дивиденды. Мы были последними папуасами, которые почему-то не сожрали миссионеров, а взяли у них взаймы. И ведь до сих пор верим, что это все взаправду, что главное — свобода. Какие цепи мы потеряли вместе с невинностью наших душ?

Борода налил себе остатки водки из графина, выпил, поднял графин над головой и звонко защелкал ногтями по стеклу, призывая официанта повторить.

— Ты бы не увлекался, — заметил Илюха, — завтра не на работу, но...

— Работа? — зло оборвал Борода. — Ты говоришь так про место, куда обречен ходить. Ты сопишь, хромаешь, ползешь по лестнице добывать хлеб насущный в поте лица своего. Но ты идешь не просто работать, ты идешь приносить пользу. Так тебя научили, так тебе заповедовали родители, а им их родители. И они были хорошими людьми, наивными и светлыми, такими, какими были все мы. Но тебя тоже обманули. Это уже не работа. Нечто, что зовется «офис», — Борода произнес это короткое слово еще раз, но раздельно по буквам, словно смачивая ядовитой слюной каждый звук.

— И это то место, где тебе станут врать про командный дух, про то, что цель всего этого — построить рай на земле. Но это место, где добродетелью назначено стяжательство, а грехом — человеколюбие и сострадание. И за то, что ты каждый день служишь черную мессу, тебе выдают немного денег. Ровно столько, чтобы ты не сдох от голода и не перестал покупать.

Официант принес еще графин водки, тарелку с нарезкой, поменял пепельницу, протер стол, вдавил салфетки в салфеточницу. Пока он составлял грязную посуду на поднос, Борода молчал и нетерпеливо барабанил костяшками пальцев по столу.

— Что-нибудь еще? — осведомился официант, наклонившись к Илюхиному приятелю. Борода отрицательно качнул головой.

— Слушай, — он перегнулся через стол, не обращая внимания на то, что сажает пятна на сорочке, и заговорил, дыша в лицо Илюхи кинзой и чесноком, — сегодня одно начальство, завтра другое. Им некуда деться. Они меня слушают, я высокооплачиваемый говнюк, они заплатили огромные деньги, чтобы я работал у них. Я еще здесь, а меня уже покупают в другом месте. Я первосвященник, через меня получают оракул, как не обосраться еще сильнее. И здесь, в Ленинграде, и в Москве, и в Перми, и в Нижнем. Везде! Каждое новое скопище идиотов в пиджаках и с большой зарплатой — для меня только строчка в «си-ви». Я научился петь их псалмы красивым голосом, научился толковать их лукавые писания почище книжников, да так, что они сами верят в то, что я говорю. Я просыпаюсь утром, принимаю душ, надеваю рубашку, повязываю галстук, спускаюсь к машине и в великой своей гордыне еду врать, стяжать, возбуждать зависть и гнев, жрать бизнес-ланч в ближайшем ресторане и клеить секретарш, которые мокнули от чужого успеха и пахнут страстью и вожделием. День ото дня. Это мой подвиг. Моя борьба. Мое служение.

Борода пальцами выудил из тарелки маринованный огурец, откусил половину и громко им захрустел.

— И про футбол этот ваш я ничего не знаю, — сказал он, не переставая жевать. — Я и на стадионе никогда не был, матчи по телику не смотрю. В детстве видел фильм «Вратарь». Помнишь, там был такой толстяк, Карасик, кажется?

Илья кивнул.

— Я не знаю, кто там сейчас в «Зените» тренер, а кто капитан вашей дурацкой команды. Мне это на хрен не надо. И работодателям моим на хрен не сдалось, чтобы я все это знал. Им от меня другое нужно. И то, что им нужно, у меня есть.

Он вновь налил себе и Илюхе до краев, чокнулся и выпил. Пощелкал пальцами, словно выбирая, что из закуски взять, но вместо этого вновь наполнил стопку и опрокинул ее, уже не чокаясь.

Борода методично и скоро напивался, он говорил и говорил, как человек, вынужденный молчать долгие годы, не зная языка соседей, и вдруг встретивший соотечественника. Не отпустить! Не дать уйти, не причастив выдержанного ада своей души.

Приятель жестикулировал, менял интонацию. То принимался декламировать нараспев, то вдруг ронял окончания фразы и замирал в театральной паузе. Он говорил, что свобода воли не в действии, а в интерпретации, что можно считать совершенное добром, а можно злом. Ну и про жизнь, про то, какая «простая штука эта жизнь».

Илюха перестал слушать. Сидел, откинувшись на спинку стула, и крутил в руках зажигалку, потирая колесико подушечкой большого пальца.

«Если ты, — думал Илюха, — никогда не ел горный чеснок, выросший на склоне, где только что стаял снежник, никогда не вслушивался в небо в ожидании борта, как ждут самого Бога, не вздрагивал ночью от крика совы или от того, что лемминги уронили мешок с горохом под навесом столовой, то тебя очень просто обмануть, ведь ты не отразился в зеркале жизни. Но и дикий чеснок — не амулет.

Вот, Борода, целую вечность потратил на то, чтобы убедить себя, что счастлив. И жизнь — не жизнь, работа — не работа, а морок сплошной. И знает про то все, а вырваться не может. А когда-то давным-давно просыпался утром и стряхивал со спального одеяла иней, прежде чем вылезти из него. Съедал с аппетитом на завтрак огромную миску гречневой каши с луком и томатной пастой, брал молоток, компас, рулетку и планшет, совал в карман красную пачку „Примы“ и уходил на целый день описывать обнажения среднего течения Шарью. И к ночи, которая на полярном круге похожа на день, только не так гудлива гнусом, возвращался с маршрута со сбитыми в кровь ступнями. Борода ронял с плеча у входа в балок-вагончик рюкзак с образцами, этими тяжелыми и острыми кусками Родины, доставал последнюю влажную от пота сигарету и с наслаждением курил на ступеньках. И знал, где настоящее счастье, а где фуфел, на который не стоит вестись. Так почему же и он отдал себя этому бесу?

Эти бесы ездили в мягких вагонах, плавали на пароходах, в каютах верхних палуб. Теперь летают над землей в бизнес-классе и так же, как и раньше, скупают души задешево. Они покупают время и здоровье, мечты и воспоминания, покой и счастье каждого и близких его. И вот уже шантажируют беднягу счастьем близких, передавая из рук на руки от одного упыря другому, пока не выпьют всю его кровь и не отпустят на даче под Вырицей, в садоводческом товариществе „Энергетик“, или „Флора“, или даже „Недра“. Название — не важно, это только символ того, чего более нет, как нет тут больше жизни по совести и ради общего счастья.

А ведь мы были теми последними, которые еще могли сказать им „Нет“. Но мы встретили их на границе наших чувств и поставили княжить над собой, доложив по форме наших уставов, что земля велика и обильна, а наряда в ней нет. „Приходите и владейте нами! — сказали мы вослед нашим отцам. — Возьмите нас, наших

жен, наших детей и фотографии наших предков в шинелях и кожанках, в армяках и сюртуках, но будьте нам князья“.

Что сожалеть теперь? Время топить печи».

— Я больше не жду от мира благодати в виде осмысленности труда и позволяю себе не понимать ничего лишнего, не верить никому не нужному. Главное в этом деле — себя, дурака, не жалеть, — Борода залпом допил пиво и посмотрел на приятеля.

— Так бывает?

— Когда по-крупному. А в мелочах пожалуйста. Мало ли что наберется. Вот верю синоптикам из Интернета. А жалею, например, что не трахнул Лариску Осаткину. Всю жизнь жалею. Не успел до того, как Ванька на ней женился, потом уже неудобно как-то. Манкая была девочка. Да и сейчас еще ничего. Ты хоть успел? — Борода поднял взгляд на Илюху, и тот убедился, что приятель нехорошо пьян.

— Ах, ну да, — махнул рукой Борода, — прости. У вас же была история. Неделикатно получилось. Мне Осаткин рассказывал. Давно. Уже забывать стал, — Борода потряс головой, — работает геологом в своей Германии, клеветает, пишет статьи в научные журналы, купил дом, купил жену, купил будущее. Родил дочку, усыновил негритенка из Чунга-Чанги какой-то. В гости звал.

— Сам не жалеешь, что ушел? — спросил Илюха.

— Откуда? — не понял Борода.

— Из профессии, — уточнил Илюха и удивился желчи в своем голосе.

Но Борода не заметил. Откинувшись на спинку стула, он ковырял во рту зубочисткой.

— А что профессия? Как первая любовь, навсегда? А она уже тью-тью, не вернется. И к тебе не вернется. Вот ты все мечтаешь, а куда ты теперь с костылем? Никогда никто не возвращается. Всё. И к нам уже не вернется та рыжая девочка в длинном зеленом плаще с карими глазами и тонкими пальцами, пахнущими ванилью, которую мы провожали на первом курсе.

Борода замолк, долго смотрел в темное, простроченное дождем окно на долгий красный свет светофора перекрестка улицы Мира и Каменноостровского проспекта на прохожих, чудом не касающихся друг друга зонтами на узком пяточке перед Австрийской площадью. Потом сморщился, потер глаза, пригладил волосы и посмотрел больным взглядом сквозь Илюху, словно был раздосадован, что кто-то в мире есть еще, кроме него самого и его боли.

— Всё. Вызывай мне такси. Поеду домой. Устал. Нормально посидели.

Пока ждали такси, Борода молча курил одну за одной. Илюхе тоже не хотелось говорить. Он вдруг подумал, что помнит домашний телефон приятеля на память: двести семьдесят три, сорок девять и так далее. В районе Суворовского проспекта все телефоны начинаются на двести семьдесят три или двести семьдесят пять. Станция, раздававшая эти номера, находилась на той же улице, что и дом Бороды. Студентом Илюха бывал с компаниями у него в гостях. Родители приятеля часто уезжали в командировки, а дед-профессор больше жил на даче, чем в городе. Четыре комнаты и огромная кухня вмещали чуть ли не половину курса.

В одной из комнат среди другой антикварной мебели стоял кабинетный рояль «Offenbacher» с клавишами, отделанными натуральной костью и инкрустированными перламутром. Когда выпивалось все принесенное с собой и кто-то отправлялся «на пьяный угол», Илюху просили сыграть. Борода снимал с рояля пачки серых листов с лекциями отца, книги, коробки с тарелками от сервиза на двенадцать персон. Илюха открывал крышку и, прежде чем играть, с нежностью оглаживал бликующие золотом и чернением гербы поставщика двора его императорского величества, любовно смотрел на яти и на китовую гребенку струн. Он устанавливал крутящийся табурет под свой огромный рост, разминал кисти рук, хрустел

косяшками пальцев и, словно на огромной печатной машинке, начинал отрывисто и ритмично печатать Рахманинова. Колков давно не касался настройщик, и звук уже был на грани приличия, приблизительно такой, который рождался из табачного и порохового дыма салонов Нового Орлеана. И было неясно, то ли Илюха несет отсебятину, превращая логичную и строгую музыку в плохую джазовую импровизацию со множеством опечаток, то ли сам инструмент вынуждает ноты скакать туда-сюда, то повышая пятую ступень в мажоре, то понижая третью в миноре. Но однокурсникам нравилось. Эта был контрапункт вечера — Илюха за роялем. После Рахманинова всем уже хотелось петь. И он играл все, что звучало тогда из магнитофонов, — от Вертинского до Макаревича, от Джо Дассена и до группы «Альфа», пробегая триолями по ступеням куплетов. Этому подпевали. Под все это даже танцевали. Под это было невозможно танцевать, но под это танцевали, обнимались, выкручивали изобретательные па, целовались. И напоследок он выдавал популярную песенку Раймонда Паулса, под которую компания отплясывала рок-н-ролл уже так, что мебель сдвигалась со своих мест, обнажая светлые квадратики на паркете, а соседи удачно стучали в слабую долю по батареям. Он с хлопком закрывал крышку, вставал из-за инструмента, картинно кланялся, и раскрасневшаяся компания падала на паркет, силясь отдышаться.

Спали вповалку, на такси денег ни у кого не было. Факультетская общага располагалась в Старом Петергофе, ночью электрички не отправлялись. Студенты укладывались на свободных местах, кто с кем, расстелив на полу тяжелые геологические спальные, покидав на паркет куртки и пледы. В этом случайном городском биваке посреди привыкшего к иному ритму жилища, между ножек столов, углов мебели, на пространствах, обеспокоенных белым светом ртутной лампы, торчащей из глухой стены телефонной станции, он не раз и не два лежал в обнимку с Лариской, дыша ей в макушку. И посреди ночи, измаявшись от желания, он выходил на кухню попить воды и находил там Бороду, согнувшегося за столом перед открытым учебником и что-то конспектировавшего в толстую тетрадь. И он устраивался рядом, закуривал и молча смотрел, как Борода заполняет клетки своим мелким, чуть вычурным в аккуратности почерком, с наклоном влево. И впереди была сессия, а после сессии практика в Крыму, а после практики поле. Два месяца на Полярном Урале, куда они собирались вместе. И это было счастье.

Пришло заказанное такси. Илюха посмотрел на счет, положенный на стол официантом, хмыкнул, отсчитал тысячные. Вздыхнув, добавил три сотни на чай и захлопнул узкий кожаный футляр-обложку. Борода спал, уронив голову на грудь. Илюха растолкал приятеля и помог добраться до машины.

— Я такого не повезу, — запротестовал таксист, разглядев, что пассажир изрядно пьян. — Мне его что, потом до квартиры на себе тащить? У меня межпозвоночная грыжа. Вызывайте другую машину или поезжайте с ним.

Илюха покорно открыл заднюю дверь, погрузил на сиденье Бороду, а сам сел спереди, примостив костыль между ног. К одиннадцати вечера пробки уже рассосались, и машин на улицах было мало. С Троицкого моста такси свернуло на набережную, потом мимо Таврического сада на Суворовский. Вся дорога заняла чуть более десяти минут. Возле дома Бороды такси остановилось, таксист назвал сумму и включил свет, чтобы Илюхе было удобнее отсчитать деньги. Илюха отдал последние триста рублей и, опираясь на костыль, вылез из машины. Таксист помог разбудить пассажира на заднем сиденье, убедился, что тот не падает на проезжую часть, и быстро уехал.



— Ты как? — спросил Илюха приятеля.

Тот стоял в расстегнутом пиджаке и пытался заправить в брюки выбившийся край рубахи.

— Нормально. Дальше я сам, — Борода стукнул Илюху кулаком в грудь, — До понедельника. Спасибо, что подвез. «Зенит» — чемпион!

Он неожиданно проворно выхватил у Илюхи свой плащ, перекинул его через руку, достал из портфеля ключи и открыл входную дверь в парадную.

— И эта... — Борода замялся, словно вспомнил что-то важное, но не решился сказать, — Короче, ну, ты понял. Не обижайся, если что. Давай. Пока.

Дверь за ним закрылась, и Илюха остался один. Он отогнул манжету куртки, часы показывали четверть двенадцатого. Между домов студеный сырой ветер болтал запах горелой изоляции вместе с опавшей листвой деревьев, не спиленных коммунальщиками весной.

«Зря отпустил такси», — подумал он, но тут же вспомнил, что денег в кошельке больше нет, рассмеялся и, похрамывая, отправился в сторону Невы. Лишь за полночь он добрался к себе на Охту. Лифт привычно не работал, и на третий этаж пришлось подниматься пешком. Нога после долгой прогулки болела сильнее обычного.

Илюха нашарил в сумке ключи и, стараясь не лязгнуть собачкой, открыл дверь. Мать не спала, ждала его, из-под двери в ее комнату пробивался свет. Там тихо работал телевизор. Илюха прошел на кухню и поставил чайник. Пахло корвалолом. Мать всегда переживала, когда он задерживался.

— Да что может случиться? Посмотри на меня, во мне полтора центнера веса, еще и палка в руках. К такому только сумасшедший пристанет, — говорил он матери.

— Сумасшедших везде хватает, — возражала она. — Ты же знаешь, Илюшенька, я волнуюсь.

Хмель выветрился и оставил Илюхе почти осязаемое чувство зазряшности сегодняшнего вечера. Он насыпал в чашку какао-порошка и залил кипятком. Где-то в темноте октября отчаянно звала сигнализация, шипел компрессор на набережной, там истоиво грохало об асфальт какое-то тяжелое и полое внутри себя железо. Это железо проклинали во всех окрестных домах: против обычного, ремонтники торопились закончить до зимы и работали в четыре смены.

Он прошел к себе в комнату. Пощелкал клавишами компьютера, растерянно проглядел заголовки спортивных новостей, машинально отметил неправильно употребленную форму глагола и отсутствие в статье Вани Шабанова запятой перед деепричастным оборотом «демонстрируя европейский уровень подготовки». Это была уже не его смена, но он набрал и послал сообщение выпускающему, чтобы исправили, выключил монитор, разделся, лег в постель и неожиданно для себя скоро заснул.

Суббота утонула в мелких перебранках с матерью, в возне перед сломанным водогреем в ванной и в бестолковой прогулке по тротуару вдоль Большеохтинского проспекта.

— Илюшенька, тебе надо расхаживать ногу. Расхаживать и расхаживать, чтобы не было застойных явлений. Так доктор сказал.

Он расхаживал. С каким удовольствием он расхаживал бы треклятую ногу, поднимаясь от бетонных плит платформы станции Харп к бараку их экспедиции! Пусть только так, от станции до барака, а потом от барака и до комнаты в общежитии, пусть не в маршрут. Хотя, конечно, лучше бы это был маршрут, с его осмысленным перемещением от точки к точке, маршрут, в котором координаты начального и конечного пунктов совпадают, — и это база второго отряда Воркутинской горной экспедиции. Это ведь не обыденная пошлость пунктов «А» и «Б» горожанина, мечущегося в пыли

и смраде человеческого муравейника. Это путь, по которому если и проходил зверь или человек, то лишь случайно. А он пойдет, осмысляя каждый шаг, посвящая каждый шаг жаркому нутру планеты, отбирая пробы, описывая точки отбора в пикетажку, привязываясь по спутнику, благо теперь стало возможно. Но как и пятнадцать лет назад, к вечеру энцефалитка между лопаток десять раз успеет вспотеть и вновь высохнуть, в пачке останется только пара сигарет, а вездеходчик Шуркан, который придет, чтобы забрать его от вагончиков долины Макар-Рузь, где всегда стоят лагерь геофизики, будет скалиться от вечернего солнца, бьющего в глаза, и материться на эти камни, на эти горы и на это солнце.

Доктор Евдокимов, тот самый, который оперировал его сразу после падения, обещал заменить часть коленного сустава на протез из сердолика.

— Ты же геолог! Будешь ходить с камнем в ноге, это почетно. Но главное, что будешь ходить, и ходить весьма резко, — убеждал Евдокимов, когда Илюха весной придет к нему на платную консультацию.

— А как скоро я смогу уехать в поле? — поинтересовался он.

Доктор Евдокимов с интересом посмотрел на пациента поверх модных очков в красной оправе:

— А что, неужели берут обратно?

Илюха кивнул. Доктор покачал головой, потом потер подбородок.

— По-хорошему, по правилам, месяцев через десять. Но я же тебя знаю, тебя не удержишь. Если обещаешь не совершать подвиги и не кататься по леднику...

— По снежнику, — деликатно уточнил Илюха.

— Вот-вот, по снежнику. Если оставаться в разумных пределах нагрузки, можешь ехать уже через три месяца после выписки из стационара. Но это при условии, что каждый день в эти три месяца будешь приезжать на лечебную гимнастику и физиотерапию. И расхаживай ногу. Расхаживай сейчас, уже до операции, как бы больно не было. Чем лучше ты расходишь ногу, тем короче будет период реабилитации. И худеть тебе, братец, надо. Худеть.

— А мне нравится, что ты такой большой, — мурлыкала Лариска и водила ногтем ему по груди в тот, последний раз, когда они лежали на широкой кровати в гостиничном номере.

Она предупредила мужа, что уезжает в командировку, а сама сняла для них с Илюхой полулюкс на двое суток в «Октябрьской».

— Ты как тюлень, который подминает свою самочку. Большой. Тяжелый. Так и должно быть. А то все ходят дрыщи дрыщами, джинсы с поп сваливаются, трусы торчат. Разве это мужчины? Вот ты — мужчина.

— Евдокимов говорит, что надо похудеть, — улыбнулся Илюха.

— Пусть Евдокимов и худеет. А ты и так прекрасен. В тебе же сто девяносто три сантиметра роста, куда тебе худеть? Тебя же ветром тогда на Урале унесет, придется постоянно ходить с полным рюкзаком.

— Говорит, нагрузка на колено слишком сильная, — настаивал Илюха.

Лариска помолчала, выпуская дым от сигареты вверх тонкой струйкой.

— Ну, хорошо, десять килограмм, — смилостивилась она, — но не больше. Иначе я тебе больше не дам. Тощих костей без тебя дома хватает. Мой Ванька-профессор бегом занялся, скоро за шваброй сможет прятаться.

— Бросай его, переезжай ко мне, — предложил Илюха, заранее зная, какой последует ответ.

— Ага! С Петроградки на Охту? К маме твоей?! Илюша, мне сорок три года, я не способна делить кухню с другой женщиной, даже с дочерью собственной. Я уже отправила старшую в Москву учиться, чтобы в общежитии жила. А с мамой твоей я или сама

повешусь, или ее убью. За что такой конец пожилым и заслуженным женщинам? Нет уж. Пусть все так, как есть. Но спасибо. Ты поднял мне самооценку. А я сейчас подниму твою, — она захихикала и сунула руку под одеяло.

Вопил телевизор. В открытую форточку гудками, ревом моторов и шарканьем по асфальту запрыгивал Лиговский проспект, в коридоре горничная пылесосила ковровую дорожку. Кровать ритмично стучала о батарею, и Лариска не то кричала, не то пела или рыдала. Глюкал гостиничный лифт. Где-то звенел на стрелке трамвай. Это было в апреле.

В воскресенье Илюха отправился по абонементу на стадион. Мать увлечение футболом терпела. Конечно, считала она его вредным для будущей семейной жизни сына, но всерьез обрадовалась, когда ее Илюшенька устроился работать в спортивную газету, что называется, «по профилю».

Утром, пока сын спал, она достала с сушилки форменную футболку и придирчиво осмотрела, не осталось ли пятен. С прошлого матча Илюха вернулся чумазым. Кто-то из сидящих рядом вскинул руки в особо голевой момент, и сочные капли горчицы с кетчупом из хот-дога смачно шлепнулись Илюхе прямо на грудь. Не кровь — отстиралось.

Матч начинался в шесть вечера, но болельщики стремились к стадиону за час или даже за полтора. Чуть ли не с полудня они группами собирались по кафешкам Петроградской стороны и Васильевского острова. Начинали всегда с пива, потому как ритуал, часть культа, традиция, потом всякий по своему предпочтению. Компания с десятого сектора, в которой Илюха считался своим, много лет как облюбовала уютный бар на Введенской улице, напротив места, где отроку Николаю в горячечном бреду последней агонии явилась Богоматерь. Хозяева бара к болельщикам привыкли, знали по именам и даже держали места, отказывая случайным посетителям, если те в дни матча рисковали занять столики в углу заведения.

Кроме двух бывших врачей, бросивших практику в последние годы перестройки, компания подобралась из университетских. Костяк составляли приятели-биологи, державшие на паях фирму спортивного снаряжения, и бывшие географы, а ныне торговцы строительными материалами. Илюха примкнул к компании десять лет назад, увязавшись однажды после победного матча за показавшимися симпатичными мужиками, с которыми в хрип орал на трибунах речевки. Прижился. Его на секторе уважали. Считался он экспертом, докой. Из-за своего высокого роста и хромоты был заметен, привычен. Среди своих, на трибунах, имел прозвище Геолог. И там же, на трибунах, ходили абсурдные слухи, почти анекдот, что в своем костыле Илюха проносит на матч коньяк.

«Надо выхаживать ногу. Ногу выхаживать надо», — в такт шагов и дыхания ухало в голове Илюхи, когда он маршировал, опираясь на костыль, вначале по Каменноостровскому, а затем по Большой Пушкарской. То и дело ему попадались компании болельщиков в клубных шарфиках, в высоких рогатых поролоновых шляпах, раскрашенных в синие, белые и голубые цвета петербургской команды. В шляпах чаще щеголяли девушки. Те, решив примкнуть к болельщикам, бросались в футбольный мир, как во грех, теряя невинность, меняя себя если не прической, то дикой, не идущей к остальному гардеробу яркой косынкой или вот такой шляпой, которую в другое время постеснялись бы надеть и на карнавал. Мужики ограничивались шарфиками или клубными футболками. В осеннем воздухе дребезжал прятный укус неизбежной победы.

— Только Питер и «Зенит»! — кричали одни. — Ура!

— Раз-два-три! «Зенитушка», дави! — вторили другие.

Во взаимном подбадривании футбольных фанатов, спешащих к стадиону улочками и проспектами Петроградской, слышалось Илюхе эхо давнего рабочего бунта, стучащего по брусчатке кованым ободом от Нарвской заставы до стылых, в радужной бензиновой пленке, вод залива.

И в обреченном на вечную дымную темень каньоне Большой Пушкарской ворочался, ронял в воскресную беспечность стружки шорохов и лязгов глубинный городской звук, не ропот толпы, а железный рокот. Тот, с которым крутились когда-то зажатые в кулачках передних бабок болванки снарядов. Тот, которого время хватало за ремни, как за вожжи, и надевало на зубчатые колеса фордзоновских станков Кировского завода. И плескался черным отработанным маслом резец Петропавловки, зажатый в суппорте Заячьего острова, и снимал пушистую стружку льда с Невы. И может быть, просто где-то работала бетономешалка.

У входа в бар стоял один из бывших врачей и громко кричал в телефон, поперек собственному хмелю.

— Не дури, Колёк! Бесплезно. Никто не продаст в разгар сезона. Ты, конечно, еще позвони нашим, поспрашивай, но это все фантазии. Давай, до встречи, мы уже выдвигаемся.

Он сунул телефон в карман, заметил Илюху и заулыбался.

— Привет, Геолог! Как жизнь полевая?

— Нормально, Доктор, — в тон ему ответил Илюха, — ходим-бродим, как сам?

— Торгуем-спекулируем. Наши уже расплачиваются. Колёк звонил, ищет, у кого абонемент купить на все матчи до конца года.

— Зачем ему, у него же есть?

— Жена сцену устроила. Уверена, что он вместо матчей к любовнице ходит.

— А он?

— А он не ходит. Ну и решил для укрепления семьи второй абонемент купить. Но никто не продает.

— Проснулся, — Илюха потер подбородок, — на нашем секторе не продадут.

— Он уже втрое против номинала готов взять.

— Пусть предлагает. Авось найдет дурака или жадину, — рассмеялся Илюха.

В это время из бара разноцветными шариками для пинг-понга, подпрыгивающими на ступеньках, ринулась на воздух остальная компания. Были приятели раскрасневшиеся, благодушные, в предвкушении победы чуть суетливые, щедрые на улыбки.

В воздухе отчаянно дребезжало прелью. На светофоре перекатывались через Введенскую волны болельщиков, уже собравшиеся Большим проспектом в один гомонливый поток. Чем ближе к стадиону, тем больше и больше становилось болельщиков. У «Петровского», как перед храмом на Пасху, было уже не протолкнуться. Когда, минув кордоны милиции и билетеров, приятели добрались к трибунам десятого сектора, до начала матча оставалось двадцать минут. Все уже кричали, скандировали речевки, распалая себя и дразня бесенят, разбуженных алкоголем.

Лишь прозвучал свисток, а стадион уже сотрясало нетерпеливой дизельной дрожью. И когда на первых минутах кто-то из «Луча» нарушил правила, на бегу подковав Текке, стадион взвыл, словно огромная пирамида. Судья назначил пенальти.

— Давай! Давай! — заорал Илья

Капитан «Зенита» Тимошук чуть приподнялся на носках бутс, словно собрался взлететь, разбежался и сочно пустил мяч по прямой, но вратарь «Луча», серб Стойкович оказался на месте. Болельщики засвистели.

— Да чтоб тебя, — вырвалось у Илюхи. «Так себе начало, — подумалось ему. — Хотя вся же не позорно, как против „Реала“, когда это чучело Губочан на первой же минуте забил мяч в свои ворота».

В кармане звонил телефон. Илюха через плотную джинсу чувствовал вибрацию. О чем можно говорить, когда ты на стадионе? Да и не слышно ничего. На экране был Ларискин номер.

— Ты где? — Илюха сквозь шум различил в голосе Лариски игривость. — Ванька с младшенькой в Крым уехали на базу. Приходи.

— Я на футболе, — прокричал Илюха, прижав телефон к уху.

— Ты всегда на футболе, когда я тебя зову!

В это время Зырянов отдал передачу Данни. Тот пробил, и мяч оказался в воротах «Луча».

— Да! Да! — Сектор взорвался вместе с остальным стадионом.

— Г-о-о-о-л! — кричал Илюха. — Г-о-о-о-л!

Сектор затянул «Город над вольной Невой» с измененными словами про футбольный клуб. Илюха пел вместе со всеми. Не успели добраться до второго куплета, как Пюигренье нарушил правила, чудом не травмировав полузащитника гостей, и получил желтую карточку.

— Если этот басурманин так будет играть, удалят к чертовой матери, — прокричал Илюха, обернувшись к доктору.

— Нормально все, — это случайность.

Только тут Илюха заметил, что сжимает в руке телефон. Лариска не дала отбой, видимо, слушала, что происходит на стадионе.

— Але? Ты еще тут?

— Я-то тут, а вот ты почему еще не у меня? Давай в перерыве лови тачку и дуй сюда, за пять минут доедешь, посмотришь на широком экране, лежа в кровати. Пивом я тебя напою. У меня суп есть, харчо.

Илюха замаялся, не зная, что ответить. Он представил себе, как в перерыве почти бегом поднимается по трибунам к выходу, потом, расталкивая всех, спешит на угол Добролюбова и Большого и, как он это делал всегда, голосует костылем. Вот он уже в машине, и дагестанец с темной шеей и ушами, поросшими жесткой щетиной, на серой «одиннадцатой» везет его по Большой Пушкинской, сворачивает на Воскова, потом по Мира, поворачивает на Каменноостровский. И он выходит у «Ленфильма». Он сразу скажет: «До „Ленфильма“ за двести». И в ответ будет: «Э, где „Ленфильм“ такой? Адрес назови».

Тут Ширл пробил угловой, но разыграть мяч не получилось.

— Ларис, давай после матча? Я тебе перезвоню, когда кончится.

— Не утруждайте себя, Илья Владимирович, — пробубльвало в трубке, и связь прервалась.

Вот так всегда. Только она. Только так, как хочет она. Всегда королева, всегда требующая поклонения, с их самого первого курса. А может быть, и раньше: «самая красивая девочка в классе». Разве она красивая? Нет, были девочки и тоньше, и смазливее. Но прав Борода: манкая она.

Вот у нее две дочки и три мужа. Второго никто не знает, он был из биологов, его никому не показали. Они поженились в мае, а в июне она уехала в поле под Петрозаводск. Вернулась уже свободной. Первый — Осаткин, третий — Ванька Шмидт. Оба — Илюхины однокурсники и приятели. Ванька — тот вообще как друг. И что? Они делят с ним одну женщину пятнадцать лет. Вряд ли Ванька не знает. Знает, но терпит, приглашает в гости на Новый год, на день рождения. И он приходит. И он сидит за общим столом и совершенно искренне смеется над

Ванькиными шутками, подпекает ему, когда тот, аккомпанируя на гитаре, поет про профиля и про «по судну „Кострома“ стучит вода» и нахваливает приготовленное Лариской мясо. И все это совершенно искренне, без дули в кармане. А потом он прощается и уходит. И ни он, ни Лариска не шлют друг другу электрических букв, не просят ни о чем, не лукавят, не изображают чувства. Но и он, и она, и, черт возьми, Ванька знают, что это навсегда. Когда они еще только собирались пожениться, Ванька все знал и понимал. И живет с этим. И счастлив своим странным счастьем. И он, Илюха, счастлив своим странным счастьем. И Лариска счастлива или несчастлива своей монаршей неугодой, но повелевает ими и принимает поклонение.

Пюигренье опять нарушил правила. На трибунах свистели.

— Я говорю тебе, это добром не кончится. Нервный он сегодня какой-то. Как специально лажает, — Илюха поежился. Его вдруг зазнобило.

«С мячом Зырянов, пасует Аршавину» — это дурачок Колёк вечно приходит на матч с приемником и включает на полную громкость.

— Гол! Два—ноль! Гол!

— Шава, с полтинником тебя!

— Пятидесятый!

— Шава, ты лучший!

Илюха сразу забыл и про Лариску, и про Ваньку, и даже про большую ногу. Ликовал со всеми и размахивал поднятым к облакам костылем, и вечерний бриз закручивал их в стрелку-косичку и тянул от материка к заливу.

Следующие пять минут гости атаковали. Мяч выкатился за поле, и рефери назначил угловой по воротам «Зенита».

— Твою же мать. Только бы не облажались.

— Они опять расслабились. Фотолюбители! Жарьте! Работайте!

— Малафеев, гадина белобрыся, отработывай!

Гвазава подал с углового, Булыга пробил по воротам, и Малафеев, совершив невозможный кульбит, вновь спас команду.

— Красавчик! Ай, красава!

На поле тем временем опять досталось Пюигренье. После нарушения мяч ушел на фол. Дани подал угловой. Теке пробил по воротам, но попал в перекладину.

А ведь они были вместе в тот год, когда Илюха свалился со снежника. Это Ванька, их Ванечка шел с ним вторым. Ванька, свежеиспеченный кандидат наук, бежал до лагеря четыре километра прямо через перевал, потому что так было быстрее. Ванька вместе с топографами и рабочим тащил его на брезенте от старой палатки. А потом начальник партии геофизиков Федор орал в тангету хриплого и дохлого «Карата»: «База, это „Гречиха“, „Гречиха“. Запрашиваю санборт, санборт. Как слышите? Прием. Прием». Ванечка сидел рядом с Илюхой и, брызгая вокруг себя каплями пота, старался успокоить дыхание, чтобы попасть иглой в ампулу с морфием. И прямо сквозь брезентовые портки он вкатил другу десять кубов, всю ампулу. А Илюха, который за мгновение до того, вовсе отойдя от шока, выл так, что заглушал свист помех эфира, выдохнул, обмяк и вдруг словно прислушался к чему-то, чего не слышали ни Ванечка, ни Федор, ни топографы, курящие у сколоченного из досок камерального стола.

Это было резервное время. Им редко пользовались. Сообщение нужно было строить из коротких фраз и последние слова повторять по два раза, чтобы на том конце, на базе в Харпе, их могли различить через расстояние и помехи. Федор повторял вновь и вновь, пока его не услышала база геофизиков на сто десятом километре. У тех тоже стояла «Ангара».

Вместо санборта через пять часов пришел ГТС с пьяным вездеходчиком Шурканом, главным болтуном Воркутинской горной экспедиции. Илюху погрузили в кузов, уложили на брошенные «в бутерброд» спальники, укрыли одеялами и повезли петляющей трясухой вездеходкой через перевал, потом через Обжанку, вдоль «пятьсот первой», до самых Лабытнанг. А Ванечка сидел рядом и держал Илюху за руку и что-то говорил, что-то такое спокойное, обыденное. Про их однокурсников, про зимнюю сессию третьего курса, которую завалили все мужики на потоке, про профессора Кузнецова, которому Ванечка сдавал теорию поля четыре или пять раз, но так и не сдал, а просто подделал его подпись в зачетке. Кузнецов тогда заметил, но скандал не поднял. Про их приятеля Кешу, который ждет их с отрядом на Заостренной, на следующей точке, уже выкопал яму под сортир, установил палатку для вариационной станции и целыми днями бездельничает и ловит хариуса на мушку, сделанную пару лет назад еще Бородой из волос, которые тот уговорил Лариску срезать со своего лобка. Борода ходил по кафедрам и всем показывал эту лихую снасть. На северах известно, что волосы с женского лобка не намокают, они жесткие. Да-да, про Кешу, который на последнем году аспирантуры влюбился в пятикурсницу и теперь собирается разводиться с Птичкой. Про Лариску, которая, конечно же, уйдет от Осаткина насовсем, про то, как она красива, как она поет: «Ах, как она поет!» Про каких-то гидрогеологов, которые во время крымской практики на «Полигоне», празднике, устраиваемым для всех университетов преподавателями из МГУ, угнали буровую установку и свалились с ней в долину Бодрака. Илюха, расслабленный наркотиком, уставший, отдавший всю свою силу в крик и вой, теперь лежал и лишь стучался то и дело плечом об угол аммонального ящика, но не находил сил попросить Ваньку подложить между плечом и ящиком что-нибудь мягкое. Так и приехал в больницу с огромным синяком, который прошел только через три недели, уже в Петербурге.

«И тут опять с мячом Зырянов. Передает Широкову. Тот выходит в штрафную зону. Удар!»

— Г-о-о-о-л! – взлетело над стадионом облако счастья и тотчас разметалось низовым ветром по обе стороны Тучкова моста. Лихо проведенная контратака завершается ударом Гвазавы по воротам. Но счет не изменяется.

И сразу, минуты не прошло, только что получивший желтую карточку Данни с подачи Широкова технично закатал мяч в ворота «Луча». Четыре—ноль.

Они кричали что-то несвязное, стучали каблуками, прыгали на трибунах, силясь поймать ритм общей речевки, но вновь распались на отдельные радостные ручейки. На сорок пятой минуте матча «Зенит» получил штрафной. Но Булыга, видимо, устал за игру и пробил в сторону от ворот. Засвистели. А потом команды ушли на перерыв.

— Геолог, продай абонемент. У всех спрашивал, никто не хочет. Продай, выручи. Я у тебя по двойному годовому номиналу куплю, это почти в шесть раз дороже того, что стоит. Геолог, продай. Ну, хочешь, я тебя буду коньяком поить перед матчем в кафе? В гости к себе приглашу, стол накрою, с женой познакомлю! Будешь другом семьи.

Колёк доходил Илюхе только до груди. Огромный Илюха мог бы служить просторным футляром для щуплого Колька.

— Коля, ты взрослый человек. Разберись с супругой цивилизованно. Зачем ее на сектор тащить?

— Я с десятки. Не могу в другом месте уже сидеть. Тут особое братство. Сам понимаешь.

— Понимаю. Но ты меня просишь за деньги покинуть братство. Так можно?

Колёк надолго задумался, угодив в смысловой капкан.

— Да и пошел ты, — вдруг зло сплюнул Колёк, — говнюк идейный!

Он повернулся и, сунув руки в карманы кожаной куртки, устремился вверх, перешагивая через две ступеньки. Илюха сел на свое место и впервые пожалел, что в костыле у него нет конька. Вспомнил про Лариску, достал телефон, покрутил его в ладони и сунул обратно в карман.

Не стоило ехать к Лариске. Он приходил в эту квартиру только как гость и как друг. Не мог он прийти как вор. Перейдя уже все границы возможного, столько лет лукавя и сгорая от стыда, он теперь все сильнее держался за эту последнюю для него границу приличия — не осквернять блудом Ванькино супружеское ложе. За этой границей, как ему казалось, начинался ад неуправляемого разврата, царство беса и порока, из которого не будет исхода, а лишь разверзнется яма посреди спальни, и он рухнет в самый ад вместе со старым паркетом. И уже не затормозит. Долетит до самого низа.

Начался второй период. Севший рядом Доктор протянул ему пластиковую бутылку с чем-то темным.

— На коньяк.

Все-таки пронесли. Да и когда бывало иначе. Всегда пронесли. Без коньяка осенью совсем зябко. Илюха отпил пару глотков. Коньяк был дорогой, не из тех, что покупал он сам.

— Хороший, — Илюха вытер рот, закрутил пробку и вернул бутылку Доктору.

— Французский.

Тем временем тренер «Луча» заменил замученного Пюигренье Смирнова на Вуйновича. Отчаянный турок Текке, который, по общему мнению, «либо лечится, либо играет», пробил по воротам, и мяч, попав в каркас, кем-то из дальневосточников был отправлен на угловой. Аршавин, агенты которого как заведенные скакали по всей Европе, пытаясь пристроить своего подопечного вновь побегать в европейский футбол, похоже, с радостью играл за родную команду. Дома ему было хорошо. Это чувствовалось. Он вышел на угловой, пробил, дал пас Текке, и тот отправил пятый мяч в ворота «Луча».

Следующие десять минут «Зенит» не покидал половину поля дальневосточной команды. Аршавин, Ширл, Тимошук лишали противника времени на перегруппировку. Угловой следовал за угловым. Илюха чувствовал, что задыхается от волнения. Сектор вокруг него рассыпал электричество в октябрьский воздух. И когда после передачи Тимошука Текке забил шестой мяч, даже для крика не оказалось сил. Стадиону хватило сил лишь для выдоха, воя, радостного скуления счастья.

— Можно еще? — Илюха протянул руку, и Доктор передал ему бутылку. Илюха уверенно отхлебнул. — Просто праздник! Сейчас пойду на прессуху, обниму их.

— Давай, Геолог! Завидую. Обними и за нас. Скажи, что «десятка» за них, горю за них.

Илюха лукавил. Пропуска в зону прессы у него не было. Туда могли попасть только аккредитованные журналисты. Но у него в кармане лежало редакционное удостоверение прессы. Там в графе должность стояло почему-то «отдел новостей». Иногда по нему тоже пускали. После очередного глотка решение пробиться на «прессуху» окрепло окончательно.

На шестьдесят третьей минуте матча вместо уставшего Данни на поле вышел Домингес, и Дик Адвокат заменил Тимошука на Файзулина. И почти сразу Данцев нарушил правила, пытаясь травмировать Домингеса. Все на стадионе знали, что это привычно для подобных матчей, когда гости выбивают «свежих» игроков, не позволяя им реализовать преимущества. Но это не отменяло некоторую аморальность



такой тактики. Болельщики негодовали. Домингес, однако, в долгу не остался: уже через двенадцать минут после передачи Широкова сделал счет семь—ноль.

Это было похоже на избивание младенцев. Здесь, на «Петровском» стадионе, оказавшись в одном матче связаны игроки даже не разного класса, а разных вселенных. В одной звучал аккордеон с европейских площадей, во второй хлопали двери на сквозняке, где-то лаяла собака и немзыкально хрустел латаными траками ГТТ семьдесят пять. В этой вселенной в футбол играли старым кожаным мячом, лопавшимся с десятков раз и чинимым заплатами из велосипедной камеры. Но в этой вселенной в футбол играли для удовольствия, а в другой вселенной назначили его смыслом существования вселенной.

И когда уставший, сплевывающий горькой слюной Булыга забил единственный мяч в ворота «Зенита», стадион ему заплодировал.

— Пускай! Гол престижа!

— Молодец!

Ему хлопали. Игроку чужой команды, забившей в ворота Малафеева. Ему великодушно прощали. Его поздравляли.

Потом на поле уже не смотрели. Зачем смотреть на поле, когда такой счет? Однако до финального свистка оставалось время. Аршавин, любовь и ревность всех питерских болельщиков, вместо того, чтобы забить самому, вдруг отдал пас Текке, и неистовый турок сделал свой первый хет-трик за «Зенит», доведя счет до восьми.

— Султан!

— Андрюша, да!

— Вот так!

— Шава — друг!

По рядам передавали пластиковые бутылки с коньяком. Илюха сделал несколько глотков почти горячей, согретой чьим-то азартом, пряной жидкости. Никогда еще любимая команда не побеждала с таким счетом.

— «Жальгирис»! — кричал Илюха, обращившись к бушующим трибунам — «Зенит» — «Жальгирис», семь—ноль. Но не восемь! Не восемь!

— Шесть один с «ЦСКА», — вторили ему.

Илюха думал о том, что сейчас «Зенит» победил даже не «Луч», а «Ювентус» и «Реал». Тот самый «Реал», который вдул их накануне, здесь же, на «Петровском», два—один: «Чертов кретин Губочан. Если бы не этот автогол, никто не знает, как сложилось бы. Теперь в Лигу чемпионов. Теперь ломить! Теперь там!»

— Ладно, Доктор, буду пробираться, иначе потом никаких шансов.

Он отсалютовал остальным приятелям костылем и пошел вдоль трибуны.

Но на пресс-конференцию попасть не удалось, хотя он и беспрепятственно миновал два кордона милиции, показывая красивое, под пластиком, удостоверение со своей фотографией, голограммой и надписью «Пресса» огромными буквами наискосок. Такое удостоверение сделали всем сотрудникам редакции специально, чтобы в случае проблем с аккредитацией у тех оставался шанс пробраться ближе к ньюс-мейкерам. Он долго толкался перед конференц-залом в очереди журналистов. Пропускали всех. Однако именно его охрана стадиона вежливо, но уверенно попросила отойти в сторону. Молодой парень, увешанный электронными причиндалами, внимательно осмотрел документ и спросил про аккредитацию. Илюха соврал, что аккредитация есть общая на издание с указанием количества человек. В это время он увидел Борю Шаблинского, который как раз проходил контроль.

— Вот я с ним! Мы из одной газеты.

— Простите, — ответил охранник и загородил дорогу, — но без персональной аккредитации мы пропустить не можем. И еще у нас указание не пропускать нетрезвых.

— Боря, ну скажи ты ему, — крикнул Илюха Шаблинскому.

Но тот лишь рассмеялся и покачал головой.

«Вот ведь с... рыжая, — подумалось Илюхе, — попроси меня еще, выронок, вычитать свою халтуру для „Спорт-Экспресса“. Хрен тебе! Посылай так. Пусть наслаждаются твоей корявой писаниной».

Шаблинский действительно писал смело, много, однако очень небрежно. Редакторам приходилось серьезно править текст, практически переписывать заново. Но его держали за эрудицию и несомненное обаяние. Боря Шаблинский чудесным образом действовал на девушек из пресс-служб команд не только высшей лиги, но и европейских, бегло говорил на трех языках и был идейно непьющим. В случае чего он мог сесть за руль машины главного редактора, чтобы доставить того домой, или объяснить таксисту, в какой отель везти шефа.

— Простите, прошу не мешать проходу журналистов, — уже тверже произнес охранник и сделал кому-то знак, показывая, что нужно вывести проблемного гражданина за второй периметр.

Илюха не стал дожидаться унижительного выдворения и ушел из холла конференц-зала сам. Нога от долгого сиденья на трибунах отекала и болела. Хромота усилилась. Под трибунами людей почти не осталось. Шумная, сверкающая радостью людская река на выходе уже обмелела. Стадион покидали последние болельщики. А по Тучкову мосту, гудя, с развевающимися клубными флагами неслись авто, из окон которых грохотал неофициальный фанатский гимн про «золотые слезы».

Илюха дождался зеленого сигнала и перешел Большой проспект. На перекрестке толпы болельщиков пытались остановить такси. Отчетливо пахло мочой. Тщетно прождав минут десять, Илюха вздохнул и похромал вдоль ограды Князь-Владимирского собора. Кусты сирени, растущие за оградой, почти облетели, напротив в сквере в черноземе октябрьского вечера по красным точкам сигарет различались компании распивающих на свежем воздухе до появления патруля. На перекрестке Блохина и Пушкинской, особенно не надеясь на удачу, Илюха поднял руку с костылем, и перед ним тотчас затормозила белая «тойота». За рулем сидела женщина. Она слегка опустила стекло пассажирской двери, наклонилась к образовавшейся форточке и спросила, куда ехать. Илюха, еще мгновение назад собиравшийся домой, почему-то ответил, что к «Ленфильму», и предупредил, что немного выпил, потому как идет со стадиона. Женщину это не смутило. Доехали быстро. Женщина молчала и слушала по радио что-то унылое про новые смыслы в современной поэзии. Ему тоже не хотелось разговаривать. Вся эйфория, которая еще час назад шипела карбидом в крови, превратилась в изжогу.

У «Ленфильма» в который раз чинили провал асфальта. Крутились оранжевые маячки на кабине аварийной машины «Водоканала». Женщина встала у обочины перед пешеходным переходом. Илюха протянул заранее приготовленные деньги, но женщина мягким, однако уверенным жестом отказалась от предложенных двух сотен, пожелала Илюхе удачи и укатила в сторону Троицкого моста. Илюха вздохнул и подумал, что лучше бы это оказался дагестанец на серых «Жигулях», который не знал бы дорогу и торговался за пятьдесят рублей. Илья не терпел, когда его жалели. А эта красивая женщина в белом автомобиле пожалела.

Перекресток Бывшего Кировского проспекта и бывшей улицы Братьев Васильевых Илюха давно любил. Отсюда неподалеку находилась редакция. Здесь, в угловом продуктовом магазине, который из-за соседства с киностудией все называли «Голливуд», он покупал вареную «Докторскую» и «Костромской» сыр. Илюха всегда приходил к другу с закуской. Винного отдела в «Голливуде» не было, потому студентами они закупались еще по дороге, где-нибудь в районе улицы Олега Кошево-

го. В «Голливуде» жили толстые холеные кошки, которые, в какое время ни зайдешь, либо вылизывали у себя под хвостом в центре зала, либо на подоконниках сонно щурились глаза на покупателей.

Иван знал кошек по именам. Может быть, он только делал вид, что знает кошек по именам, чтобы произвести впечатление. Хотя какое впечатление от того, что твой приятель знает имена кошек в соседнем продуктовом?

Илюха прошел мимо опущенных ставней бывшего продуктового, мимо индийского кафе, слонов в витринах которого много лет назад продал владельцам кооператор Борода, посмотрел на освещенные стекла модного бутика, которым владела их с Ванькой однокурсница, и, перейдя Большую Посадскую напротив литфондового дома, застукал костылем по гулкой арке подворотни.

Лариска с Иваном жили на самой верхотуре. Узкие лестничные пролеты в подъезде черного хода были круче и длиннее тех, что в редакции. Тонкие чугунные перила, похожие на изогнутые рейсфедеры, вынутые однажды из готовальни и заржавевшие скукой необязательных чертежей. Ступени, покрытые оспой каверн и пятен доисторических ремонтов. Тусклые шестидесятиваттные лампочки на этажах, кое-где уже замененные жильцами на новые, с белым холодным светом. Здесь всегда шмыгало сыростью из подвала. Так пахнет Петроградская сторона, стоящая на топком месте и даже в декабрьскую стужу выпускающая из недр узких подвальных окошек отважных, живучих комаров покусать жителей верхних квартир. Достаточно в снегопад открыть форточку, чтобы проветрить комнаты от жарко натопленного сухого воздуха, и ночью в комнате перепутается со сном хозяйский писк комара.

Илюха испытал это на себе. В последнюю зиму перед армией Иван пригласил пожить у него несколько дней зимой, на время, пока сам уезжал с тетей кататься на лыжах в Карпаты. В квартире оставалось две мелких теткиных пса, которых требовалось по три раза на дню выгуливать. Илюха согласился. В обязанность ему вменили кормежку и выпас животных, полив цветов и ответы на телефонные звонки с записью, кто и когда звонил и по какому поводу.

Конечно, он согласился. Как можно было не согласиться, когда в его распоряжение на две недели поступало заветное отдельное жилье в самом центре Ленинграда. Высокие потолки. Старый дубовый паркет. Просторная чугунная ванная с шумным водогреем, керамическая плитка на полу и здесь, и в кухне. Расписные изразцы голландских печей в кабинете и спальне. Дом уже тогда разменял вторую сотню лет. Но самое главное, что было в Ванькиной квартире, — это эпических размеров дедовская еще библиотека с томами на всех европейских языках и настоящий камин. Камин топился ящиками, которые Ванька таскал с задворок продуктового и потом разбирал по аккуратным досочкам на лестничной площадке и складывал стопками на стеллаж в прихожей.

— Курить только в камин, — сказал Ванька, вручил Илюхе ключи и поволол вниз увесистый рюкзак. Обе пары лыж уже унесла Ванькина тетя.

Да, он курил в камин. Он зажег огонь сразу же, как шаги друга стихли на лестнице. Он поставил на проигрыватель пластинку скрипичного дуэта Сабраманиама и Граппели, пил портвейн, согреть в руке рюмку, и глядел на огонь. Отблески огня то и дело красиво блестели на золотой готике тиснений старинных переплетов. За стеклами вьюжил снег, шарахался от фонарей и собирался в пушистые сугробы на подоконниках соседнего, литфондового дома.

А на следующий день он позвонил Лариске, она приехала и не уезжала две недели.

День тот начался суматошно. Собаки скулили и лаяли в прихожей, стараясь разбудить Илюху. Но он спал крепко, приговорив накануне бутылку портвейна.

Когда же наконец, проснувшись, он, отпихивая в сторону елозящих по полу хвостами тварей, вышел на кухню, то увидел, что гулять с собаками уже нет никакого смысла. Вся кухня была в лужах и экскрементах. Потом оказалось, что эти два животных привыкли гадить дома, когда и по скольку с ними ни гуляй. Иногда убирала Лариска, костеря гадов на чем свет стоит. Но чаще это делал Илюха. Ему это время запомнилось постоянной уборкой за собаками, готовкой еды, мытьем мисок, гуляньем во дворе по желтому снегу, когда те рвались с поводков в разные стороны. Потом опять готовка, опять прогулка, опять уборка.

Удивительно, как две твари, две жертвы человеческого эгоизма, человеческой уверенности в том, что он умнее природы, две жертвы инбридинга, могут подчинить себе все время без остатка. Илюха чувствовал себя в услужении. В шутку стал называть обеих псин «на вы». Но те меньше гадить от этого не стали.

Это было время после сессии, когда делать по большому счету нечего. Конечно, они гуляли с Лариской по Петроградской стороне. Они бродили по заснеженному пляжу Петропавловской крепости, иногда брали с собой собак, кидали им мячик. И в эти минуты забывали их ненавидеть. Да и собаки, кажется, чувствовали себя членами общества. Но лучше было оказаться просто вдвоем. Они сбегали из дому, оставив псов в остервенении бросаться изнутри на дверь и выть в кухне. Они катались с ледяной горки грота в Александровском парке, они кормили уток возле Андреевского моста. Они дважды ходили на фильм в «Колизей» и один раз в «Аврору». В «Авроре» они целовались на заднем ряду, распалив себя так, что, не дождавшись конца сеанса, приехали на «Горьковскую», взбежали по лестнице на пятый этаж и, перепрыгивая через лужи и кучки, бросились в спальню, закрылись там и вышли только через пару часов. Илюха вновь убирал экскременты, ставил кастрюлю с костями и рисовой кашей на газ и шел во двор, с трудом удерживая в руках поводки рвущихся вперед и в стороны мелких дурных тварей.

Как-то воскресным утром, за пару дней до возвращения хозяев, когда Илюха еще лежал под одеялом, Лариска курила у камина, стряхивая пепел в чугунную пепельницу в форме ежика. Она вдруг повернулась к нему, выпустила дым под потолок и сказала, что хотела бы жить в этой квартире.

— В такой же, как эта? — уточнил Илюха.

— Нет, в этой самой, — очень серьезно ответила Лариска.

— Тогда тебе придется выйти замуж за Ваньку, он на тебя давно глаз положил, — рассмеялся Илюха.

Он забыл тот разговор. Вспомнил только сейчас, когда, то и дело останавливаясь, проминая пальцами ногу от колена до бедра, всем весом опираясь на костыль и подтягиваясь за перила, поднимался на высокий этаж.

Вспомнил и расхохотался: «А молодец девчонка! Вначале Осаткин с квартирой окнами на Соловьевский садик и Неву, потом Иван в пяти минутах от Петропавловки. Нормально!»

Впрочем, он не верил в подобную чушь. Так не могло быть. Хорошие люди никогда не женятся и не выходят замуж по расчету. Хорошие люди женятся по любви, а потом страдают всю жизнь. А Лариска была хорошим человеком. Она заботилась об Иване. Она гладила ему рубашки, помогала ему с докторской, сутками не спала, когда Иван попал в больницу с сердечным приступом, возила продукты, дежурила. И Иван был хорошим человеком. Он любил Лариску, воспитывал ее дочку от Осаткина, потом уже обеих девочек. И Осаткин, тот тоже был хорошим человеком. Он никогда не говорил плохо о своей бывшей жене, помог устроиться дочке на стажировку у себя в Гамбурге. В конце концов, Илюха никогда не забывал это, именно Осаткин дал тогда основную сумму на операцию, хотя Илюха послу-

жил причиной их с Лариской развода. Осаткин прислал пачку плотно завернутых в полиэтилен дойчмарок, с оказией, и после этого Илюху положили в двухместную палату повышенной комфортности. Ту, в которую потом подселили Булдоева.

Илюха существовал в мире хороших людей. И было ему тошно от того, что по всему выходило, что именно он оказался в этом мире самым плохим, нарушающим общую логику жизни. А теперь стал еще и самым никчемным. Чувствовать это становилось иной раз невыносимо. И вот сейчас Илюха замер в одном лестничном пролете от двери, за которой его ждала Лариска. И если бы не боялся привлечь внимание соседей и того, что Лариска услышит, завыл бы в голос. Завыл бы так, как выл от боли на Полярном Урале. Лицо его, и без того асимметричное и некрасивое, смялось в гримасу. Он повесил костыль на перила и стал ладонями тереть лоб, глаза, сильно сжал переносицу.

«Бежать! Пока еще не поздно. Пока скверна вовсе не затопила душу, пока не отрастил жабры, чтобы дышать в этой зловонной жиже, плавники, чтобы перемещаться от одного поплавка греха до другого. Ужели не осталось сил для покаяния? Совсем ослаб? Никчемное вместилище жгучего стыда, — думал про себя Илюха и вновь морщился. — Пусть этот миг на этой лестнице приготовлен для меня как последняя надежда на прощение. Почему нет?»

Он всегда исходил из правильности своей жизни, из того, что все происходило так, как должно было происходить, что лишь нелепая случайность помешала ему. Вот теперь он — мужественный человек, который борется со своим недугом и пытается вернуться в строй. А оказывается, что был эгоистом, а стал пошляком и мелким пакостником, недостойным великодушия друзей, любви настоящих женщин, да и самого бытия.

«Вперед, Илья Владимирович!» — сказал он себе, подхватил костыль и, как только мог, быстро пошел по лестнице вниз.

Он уже спустился до второго этажа, когда в кармане проснулся телефон. На экране опять высветился номер Лариски. Поднимая трубку, Илюха всполошился, что не стоило отвечать, а надо просто выключить звук и не отвечать. Но было уже поздно, он ответил.

— Ну и где ты? — Ларискин голос был строг и ироничен одновременно.

— Вот поехал домой, — соврал Илюха.

— А что у тебя там так гулко?

Где-то наверху заворочался, залязгал механизм замка, и открылась дверь.

— Илья, я знаю, что ты здесь. Я видела в окно, как ты идешь. Какого черта прячешься? Поднимайся!

На нижних этажах лампочки перегорели. Илюха стоял в темноте лестничного пролета. Он знал, что его не видно, но сам хорошо видел голые ноги Лариски и край ее халата.

— Найди в себе силы быть мужчиной, мой друг!

Стараясь не шаркать больной ногой, он спустился еще на этаж, нажал «отбой», быстро миновал оставшиеся ступеньки и выскользнул из подъезда, аккуратно прикрыв за собой тяжелую металлическую дверь. На улице Илья отключил телефон.

Планерка в понедельник традиционно начиналась в девять. Корректоров на планерку не приглашали. Когда Илья добрался до редакции, ночная смена еще не ушла. Верстальщики с покрасневшими от переутомления глазами пили на кухне чай. Кофейный аппарат не работал, и возле него суетились завхоз и секретарша.

То и дело пиликал телефон на стойке приемной, и секретарша бежала к нему по коридору, отчаянно стуча каблуками по ламинату.

— Да, совет директоров переносится. Да, все правильно, на час дня. Ирина Михайловна звонила, она задерживается в спорткомитете.

— Нет, повестка без изменений.

Не успел Илюха сесть за стол, чтобы приступить к первой правке статей, поступивших для завтрашнего выпуска, как в комнату вошел Шаблинский.

Он не поздоровался, даже не взглянул на Илью. Вальяжно прошествовал до стола, уронил в лоток листочки со своей статьей, сделал отметку в графике сдачи материалов и так же молча, походкой, исполненной достоинства и презрения, удалился.

Илья хмыкнул, пододвинул к себе статью Шаблинского и прочел первые строчки: «Сегодня все было так, что у всех игроков „Зенита“ все получалось. Это было, наверное, потому, что фортуна наконец должна была повернуться к игрокам своим лицом».

— Бездарь, — проворчал Илюха и бросил листочки обратно в лоток, решив, что Шаблинского начнет править в последнюю очередь, когда остальные материалы уйдут на верстку.

Ему вдруг захотелось поговорить с Бородой. Он поднялся из-за стола, дошел до кабинета Бороды, дернул ручку, но дверь оказалась закрыта.

— Всеволод Константинович еще не приходил? — спросил он у секретарши, идущей по коридору с тряпкой. Внутри кофейного аппарата что-то бахнуло, и пол залило бурой жидкостью.

— Утром приходил. А сейчас в спорткомитете вместе с Ириной Михайловной. Илья, не надо здесь ходить, видите же, весь пол в кофе. Потом всю грязь потащите по редакции.

Клеопатра казалась раздраженной больше обычного.

— То одно, то другое, то третье. То принтер сломается, то телефонная станция, то вот кофеварка. Пожар бы, что ли, случился. Пусть к чертовой матери сгорит вся эта богадельня.

Илья извинился и вернулся к себе другим коридором мимо кабинета финансового директора, вдоль матовых окон бухгалтерии и отдела распространения. В открытую дверь распространителей Илюха увидел знакомого парня, который сидел на столешнице и демонстративно курил прямо в кабинете, стряхивая пепел в пластиковый стаканчик.

— А мне теперь все едино, — крикнул парень, отсалютовав стаканчиком, хотя Илья его ни о чем и не спрашивал. — погоди, скоро и сам закуришь. Все тут скоро закурят. Развитие у них. Деградация, а не развитие. Понабрали хрен знает кого!

Илюха не стал вникать в неприятности с распространением. Это его мало касалось. Он вернулся к себе и за час расправился с десятком статей. Осталась лишь передовица Шаблинского. Илюха вздохнул, положил листочки перед собой, включил компьютер и принялся за переписку статьи, время от времени сверяясь с оригиналом.

За стенкой то и дело вскрикивали. Там штатные журналисты, вернувшиеся с планерки, через спутник смотрели очередной матч мирового первенства на большом экране. По правилам редакции первые статьи по матчу должны были появиться в сети через двадцать минут после окончания, а первая аналитика по чемпионату, учитывающая эту игру, к шести вечера. Дополненная статья уже стояла в макете завтрашнего номера, но ее предстояло корректировать уже вечерней смене.

Илюха корпел над текстом минут тридцать, потом взял с принтера еще горячие листки, налил себе кофе из починенного кофейного аппарата и отправился в курилку. «Все-таки мягкие диваны в курилке — это директриса здорово придумала», — подумал он, усаживаясь и вытягивая ноги.

— Скажи уже, что про все это думаешь? — спросил его Феликс, заместитель редактора отдела хоккея.

— Эпическое зрелище.

— Я не про футбол.

— Он не знает, — хихикнул кто-то.

— Делает вид, — раздалось откуда-то сзади.

— Ты что, не в курсе? — Феликс ехидно посмотрел на коллегу.

Илюха помотал головой, отхлебнул кофе, поставив значок, обозначающий сноску, переложил листок назад и отложил правку.

— Инна сегодня утром набирала на компьютере приказ о сокращении. Там почти треть списка издательства. Она же тихушница, никому бы не сказала, но с утра на стойке принтер не работает, отправила печататься к этим ханурикам в распространение. А там прочли, конечно.

— Ну и? — Илюха вспомнил давешнего курящего в кабинете парня.

— Их в полном составе.

— А кого еще?

— Инка прибежала, листочки отняла, не успели запомнить. Кажется, Когана еще, — Феликс назвал редактора отдела шахмат. — Но там много фамилий. Мужики уверяют, больше двух десятков. Хотя не исключаю, врут от обиды.

Илюха заметил, что все, кто сидел в курилке, смотрят на него, словно ждут реакции.

— Это все твой приятель, директор по деградации. Его затея. Мы думаем, чувака специально взяли, чтобы всех повыгонял. Самим совестно. Бульдозер приказал оптимизировать расходы, а Иринка — баба мягкая. Сейчас начнется: «Сталинград! Каски на голову! Шесть пик!», а там кто сколько вистов нахватает. Пойдем на биржу под барабанный бой и армейский троекратный салют. Тебя небось не тронут.

В словах Феликса звучало эхо разговора, начало которого Илюха не слышал. Что-то злое, обреченное. Словно все постановили, что это Илюха виноват в сокращениях. А если не напрямую, то косвенно. Впрочем, если твой приятель, то и ответственность твоя. Во всех коллективах так. Когда бывало иначе?

В бытность еще Илюхиной службы в геологическом институте на Васильевском острове чаще всего доставалось в их отделе чуть заикающемуся, стеснительному инженеру Валере Варламову. Его жена приходилась родственницей заму по науке. Не любят на Руси высокое начальство, хотя побаиваются. А на родственниках отыгрываются, пусть и нет в том никакой доблести. Если принимало начальство неудобное для всех решение, то, конечно, не само, начальству откуда знать про то, что происходит в коллективе? Значит, начальство разговаривало. А с кем? Ясно с кем! Потому все раздражение, всю пакость человеческую отмеряли Валере полными пригоршнями.

В начале девяностых институт трясло. Был он пусть не на самом краю тектонических процессов в отрасли, но и от него откалывались континенты отделов и уплывали в другие ведомства и научно-производственные объединения. Зарплату задерживали. Партии комплектовались кое-как. И словно на грех, у Варламова подошла очередь на квартиру. Эта очередь не трогалась с места много лет, и сам Варламов с семьей врос в нее уже лет как пятнадцать. И вдруг смотровая.

Варламов обрадовался, устроил истерически щедрую пьянку в отделе, а после пригласил всех на новоселье. Уже там, в новой, самостоятельно Варламовым обустроенной «двушке», случился вовсе некрасивый скандал. Были обвинения, наветы, выяснения отношений всех со всеми и запальчивая ложь про роман Валеры и практикантки из отдела сейсморазведки. И произошло все при жене и сыне-школьнике.

Илюха сидел на табуретке в углу гостиной, оклеенной модными виниловыми обоями в две расцветки с бордюром. Бокал с сухим «Вазисубани» давно опустел, но

он не смел подойти к столу, чтобы вновь наполнить, а лишь слушал, как распалается, пыхает злобой и нервной завистью разговор. По всякому получалось, что если бы не Валера, то и государственные контракты на сгущение сети институт получил бы, и новый вычислительный центр построили, и общежитие для аспирантов сделали, и зарплаты как у людей, и ходили бы все в голубых «ливайсах» и кожаных куртках, а в поля летали на личных вертолетах. Илюха вышел на лестницу покурить, да так и сбежал, не видя смысла оставаться. Варламов ему нравился. У Варламова всегда можно было перехватить четвертной до зарплаты, с Варламовым было приятно идти до метро пешком по Среднему проспекту, по обоюдному вдохновению свернуть в «Бочонок» на Шестнадцатой линии или в чебуречную между Двенадцатой и Четырнадцатой. И там две порции чебурек с красным соусом и хазани, одну порцию на двоих. Только чтобы закусить разведенный спирт, хранимый Варламовым в зеленой армейской фляге.

Варламов на следующий день подал заявление по собственному желанию. Работал потом несколько лет в геодезии, пока в девяносто пятом его не убили. Никто не знает за что. Может быть, и не за что.

Илюха сгреб листочки, допил одним глотком кофе и оставил коллег в подозрении и тщедушии.

В кабинете директрисы шло совещание. Из-за закрытой двери слышался спокойный голос Бороды, чуть визгливые интонации финансового директора, скрипучий тембр главного редактора и нервные переливы хозяйки кабинета. Перед дверью Инна, нагнувшись и выставив в проход затылок в узкую юбку плотное, тугое бедро, сортировала на стуле какие-то листочки, то и дело щелкая скоросшивателем. Илюха стыдливо отвел глаза от форм секретарши.

— Решают? — зачем-то спросил он.

Инна обернулась, посмотрела из-под локтя, но ничего не ответила и вернулась к своему занятию.

Луком в редакции сегодня пахло особо отчаянно. К этому с самого утра примешивался сандал ароматических палочек, девочки из бухгалтерии безуспешно глушили благовониями луковый дух, и еще запах голландского трубочного табака из кабинета главного редактора. Бульдозер позволял тому курить у себя. Это была привилегия.

«Если не хочешь платить людям больше, чем платишь, награди привилегиями, которых нет у других», — говорил Булдог Илюхе, когда они лежали в одной палате, и тому вдруг захотелось поделиться с соседом озарениями управленца.

— Начальство тогда хорошо себя чувствует, когда ему позволено то, что не позволено простым сотрудникам. Это ничего не стоит. Но это делает людей преданными. Вот так-то, Геолог! У тебя есть привилегии?

— Вроде нет.

— Если появятся, знай, что тебе недоплачивают.

У Илюхи никогда не было привилегий. Жизнь не делала его начальником, даже самым незначительным. Иерархию Илюха открыто презирал, за что и ранее, и в редакции слыл не то что юродивым, но «с прибабахом». А там, на северах, и на самого министра геологии плевали. Последний бич не поверил бы ни одному слову начальству из столиц, не снял бы перед ним подшлемник, не поднялся бы из-за стола, а только яростнее шваркал бы ложкой в обколупленную эмаль миски. Но вот начальник партии был авторитетом. Или, скажем, Тербянко, директор всей Воркутинской горной экспедиции, почитался за Бога, который может все и которому подвластны эфир с его частотами, тайга и тундра с гнусом и карликовой березкой, Карские ворота с их штормами и, главное, вертушки и вездеходы. Только Бог



мог в непогоду прислать санитарный борт. Только Бог мог отправить партии, застрявшей на съемке, после конца сезона ящик зубровки, закатанной под блестящие крышки в литровые банки. Может, это и было привилегией? А здешние, городские начальнички виделись Илюхе суетливыми тараканами, служить под началом которых ни доблести не прибавляло, ни славы. Лишь в чьем-то кошельке становилось больше или меньше денег. Даже Булдоев не приводил Илюху в священный трепет, как других. Чувствовал он, что Булдоев и сам алчет не того, что имеет, а чего-то, во что верил в своем детстве и юности, о чем читал в книжках. В тех самых, в которых настоящие люди ходили по настоящей земле и теперь стыдили его каждой строчкой. И хронический стыд тот, долгий и злой стыд за жизнь на ссудный процент делал их ровней.

— Ты социально опасен, Илья Владимирович, — говорила Лариска и расчесывала его волосы массажной щеткой, а он сидел на полу, положив голову на ее голые колени. — Ты противопоказан системе. Твой труд не покупается за деньги, он заслуживается идеей. Ты — праведник. Сколь бы ни грешил со мной, останешься праведником. Я приду домой, час простою под душем, но грязь с души и за час не смою. А к тебе не липнет. Дурачок ты мой, святой.

В редакции что-то происходило. Какое-то множественное движение. Скрипели, проворачиваясь, дверные ручки, сами двери хлопали, где-то шаркали, где-то дроботали каблучки, гулко топал кто-то тяжелый в дальнем коридоре, от чего звякали кубки в стеллаже. Илья выглянул из кабинета. Мимо почти бежали девочки из бухгалтерии, те самые, что жгли ароматические палочки и которых он не мог запомнить по именам, было их слишком много, и казались они все на одно милое и чуть вздорное лицо.

— Что там? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Приказ вывесили, — ответил кто-то.

В холле перед конторкой Инны собралась чуть ли не вся редакция. Собравшиеся перекидывались нервными смешками. Кто-то, кто уже прочел, протискивался назад, задние, наоборот, напирали.

— Да не толпитесь вы, как дети малые. Вот вам, наслаждайтесь! — Клеопатра достала из принтера с десяток листочков и протянула через стойку.

Листочки мгновенно расхватали.

Илюхе не досталось, но возле стенда уже поредело, и он смог подобраться так, что с его роста стал виден текст. Это был приказ о плановом сокращении штата редакции «в связи с реорганизацией структуры издательства». Говорилось о компенсации, о выплате дополнительной премии и прочее. Далее шел список сотрудников по отделам, занимающий почти три страницы, с указанием должностей.

Взгляд Илюхи заполошенно метнулся по фамилиям. И когда в самом низу второго листочка Илюха прочел: «16. Тройно Илья Владимирович — корректор», — ему вдруг стало спокойно и хорошо. Ему показалось, что он даже обрадовался, хотя вслух хохотнул: «Ну, Борода! Ну, не с... ли?!»

Рядом с приказом висело еще и объявление. Сокращаемым сотрудникам напоминалось о необходимости соблюдения трудовой дисциплины согласно уставу редакции, правилам внутреннего распорядка издательства и положений Трудового кодекса.

— Бояться, что сейчас уйдем в коллективный запой, и газетка их сраная не выйдет. Так им и надо! Я лично уйду на бюллетень. С завтрашнего дня официально болею, — это сказал все тот же парень из отдела распространения, что курил утром в кабинете.

— Чем? — спросил Илюха.

— Что «чем»? — не понял парень.

— Болеешь чем?

— Какая разница! Триппером, например. Или вот, — парень поднял вверх палец, — гипертонией. У меня хроническая гипертония. А тут обострение на фоне нервов и переутомления. Участкова давно предлагала взять больничный.

— Гипертония — это хорошо, это не обидно, — кивнул Илюха и выбрался из толпы окружавших стенд сотрудников.

У дверей на лестницу, положив локоть на стойку, стоял Феликс и просматривал листки приказа. Заметив Илюху, он поднял на него насмешливый взгляд.

— Как же так? Твой дружбан и вдруг тебя так кинул. Не по-пацански. Если денежки появляются, дружбе конец? Ну, конечно, здесь карьера. Это поважнее будет история...

— Дурак ты, Феликс, — Илюха махнул рукой и пошел к себе, почти не хромя. Нога вдруг совсем перестала беспокоить.

Что бы ни было, а Илюха на Бороду осерчал. И даже не потому, что оказался в списке, шут бы с тем. Производство, кому бы ни принадлежало, — это производство, на производстве свои законы и необходимости. Но почему не предупредил? Почему не позвонил? Ведь знал заранее. Наверняка просчитал накануне. Может быть, даже тогда, на Австрийской площади, когда заказывали первые триста «Столичной», котлеты «по-киевски» и по паре кружечек красного, уже тогда Борода знал, что Илюху увольняют. И теперь Илюхе срочно, просто срочно надо было разобратся, есть в том лукавство и умысел либо нет. Ибо если есть, то многое, во что верилось, превращалось в тлен. Огромная ветвь дерева, за которое он цеплялся все эти годы, дерево, которое поливал, в тени которого лечил свои раны, огромная ветвь этого дерева засыхала и с треском рушилась в бездну прошлого, туда, где клубился туман беспамятства, где путались лица и имена, где года различимы лишь по этикеткам на бутылках с грузинским сухим или молдавским крепленым.

— А что мы пили тогда?

— «Гурджани».

— Ну да, это, наверное, восемьдесят седьмой.

Борода. Сколько лет он знает Бороду? Они познакомились на вступительных по математике, «математика — письменно». Илюха после математической школы даже не готовился. Зачем тратить время? Он и к физике не готовился. Готовился к сочинению. В тот год министерство придумало эксперимент, по которому абитуриент, имевший в аттестате средний балл выше четырех, мог поступить на факультет, сдав вместо трех экзаменов два, но в случае, если за первые два в сумме набирал не меньше девяти баллов. Первый экзамен — математика, второй — сочинение, а третий — «физика — устно».

Большинство кафедр факультета располагались в здании Двенадцати коллегий, на Васильевском, где и приемная комиссия. Но экзамен Илюха поехал сдавать на электричке в Старый Петергоф. Там еще при Хрущеве начали строить Университетский городок, но за четверть века построили только общежития с домом культуры и три факультета: матмех, прикладной математики, физфак и химический. Там же стояло недостроенное здание геологического факультета, на крыше которого уже успела вытянуться и теперь трепетала свежей листвой молодая березовая поросль, а в окна все еще безобразили исподним бетонные перекрытия.

Экзамен сдавали в огромной аудитории физического факультета. Сюда Илья ездил на олимпиады. Здесь он впервые поцеловал девочку из их школы на дне физика, ученики их школы на студенческий праздник допускались. Теперь тут писали математику. Каждый сидел за отдельным столом. По проходам шакалили проверяющие. Кого-то вывели из аудитории сразу. Члены комиссии что-то обсуждали на кафедре за сдвинутыми столами из желтой фанеры.

Илюха взглянул на задание, понял, что решать здесь нечего, быстро оформил экзаменационный лист, вписал данные по задачам, легко и изящно вывел решение по стереометрии, потом с ходу «щелкнул» интеграл и, когда уже собирался расправиться с левой задачей «на сообразительность», построив систему дифуравнений, услышал, как кто-то осторожно его окликает. Он, оценив, что проверяющие находятся в других концах аудитории, оглянулся из-под локтя. Худющий парень с бледным лицом, на котором, словно нарисованные, ярко проступали веснушки, передал ему листок с условиями своего варианта.

Вариант оказался еще проще, нежели у него. Илюха торопливо решил и осторожно вернул парню. И это был Борода. Тогда еще не Борода, просто Севка. Не успел он нарисовать скобку системы уравнений, как услышал, что его зовут слева. Оглянулся. Рыжая худенькая девочка умоляла его взглядом. Лариска. Он и за Лариску решил вступительный экзамен по математике. Следующий час Илюха прорешал еще около десяти вариантов. Последний оказался идентичным его собственному, и он, уже не думая, переписал решение первых двух задач, а с последней расправился как-то особо лихо, пижонски, через пределы.

После этого он повторил решение у себя в листке. С одним лишь расхождением: не указал модуль переменной. И вместо того, чтобы отнять от шестидесяти трех три, он к шестидесяти трем три прибавил. Именно из-за этого Илюхе поставили за экзамен четыре, тогда как все, кому он помог, получили пятерки.

Эти «счастливчики» и оказались его первой университетской компашкой. С ними в промежутках между экзаменами он ездил купаться в Солнечное и Комарово, на первом курсе пил пиво в «Петрополе» и уже потом, когда шла зимняя сессия, лютой зимой восемьдесят седьмого года, после экзамена по общей геологии, в плавучем ресторане «Петровский» грелся горячим шоколадом и сухим шампанским. Кеше он не решал, тот справился сам. Но дружили все с тех самых пор, с абитуры. А на втором курсе добавился Иван, только что вернувшийся со службы и появлявшийся на лекциях в черном матросском бушлате с позолоченными пуговицами.

Борода стал Бородой после практики в Саблино, когда вдруг оброс рыжей жесткой бороденкой. Старый профессор, преподаватель топографии с географического факультета, увидав студента впервые лишь на экзамене, протянул руку за зачеткой и процитировал из Хармса: «Зри, како твоя борода клочна!» Так прозвище к Бороде и прилипло.

И в армию уходили вместе. И вернулись в один день. Да не в том даже дело. Илюху, молитвами Теребянко, грузили в Лабытнангах на прицепной вагон Лабытнанги—Ленинград, на тот, на который никогда не достать билетов, но который есть и о том все знают, как знают правду о том, кто убил Кирова. В Харпе вездеходчики запили, не похмелились и опоздали подвезти к поезду вьючник с личными Илюхиными вещами. Пил воду из-под крана и ел только китайскую лапшу, те несколько пакетов, что сунул ему с собой Иван. И когда наконец приехал в Ленинград, в плацкарте, три дня отмаявшись стыдом перед соседями по купе, когда корячился над эмалированным судном, единственным, что было у него из багажа с собой, кроме портфеля с документами, томиком Честертона и парой сменного белья, тогда его встретил Борода. Борода нанял носильщика. Борода посадил Илюху на тележку, сунул ему в руку открытую бутылку пива «Мартовское» и докатил до стоянки такси. А потом Борода повез его в Институт травматологии и ортопедии, где уже ждало Илюху оплаченное Осаткиным место в палате на две персоны. И потом, пусть это было уже вовсе не нужно, но когда Илюха очнулся от наркоза, он увидел Лариску, наклонившуюся над ним, а сзади в кресле храпел Борода. Он дежурил в реанимации сутки.

Не мог Борода быть против него. Борода всегда был за него, как он за Бороду, как за Ивана, Иван за Осаткина, Осаткин за Кешу, а Кеша за Ивана. Они жили, ощущая бытие и существование друг друга, сквозь годы и километры.

«Врешь, Феликс! Врешь, сучье твое семя! Не живем мы так, как тебе хотелось, как сам ты, — в блевотине душевной, в смраде и градусе корысти. Не святые, тут Лариска хватанула, но цену настоящему знаем, за бусы из стекла не отдадим. Мы аборигены на этой земле. Это вы пришлые. Вас на сотню в размен дают, а вы и рады. А нам суета не по чину. Потому не мог Борода другу подлость подстроить ради денег или чтобы выслужиться. Подлость — это вообще не из нашего мира, из вашего. У нас глупость да лень, лень да страсть, страсть да стыдоба. А подлость... Нет, если он шел однажды на маршрут по склону, по тому месту, где только-только стоял снежник, и останавливался покурить, и замечал тонкие стебли дикого чеснока, то у него, у меня, у всех нас есть за что зацепиться в жизни. За вот эти стебли и цепляемся. Вспоминаем, как срывали, как жевали и долго перекачивали во рту пряную островатую кашичу. Простой дикий чеснок. Обычная тонкая травка с пушистым розовым шариком наверху. И прочь морок! Прочь!»

Илюха с трудом сосредоточился на работе. Машинально исправил ошибки, поставил переносы, обозначил двойные пробелы, указал на замену дефисов. К трем часам дня он вернул всю корректуру в верстку и даже сам не заметил как, но оказался перед дверью в кабинет Бороды.

Постучать не успел, дверь распахнулась, и его чуть не сбил сам Борода с пачкой сигарет в руке.

— А, хорошо, что пришел! — обрадовался он. — Заходи! Я покурить собрался, но это подождет.

Илюха пожал протянутую руку и не ощутил в том рукопожатии неправды.

— Короче, смотри. Я сейчас вступил в единоборство за твою компенсацию с финансовым, редкостная стервь, но сдалась перед моими аргументами. Ты же инвалид, а инвалида просто так сократить нельзя, да и сложно тоже инвалида не сократишь, без желания самого инвалида. А наша задача какая?

— Какая?

— Наша задача — отправить тебя на операцию, пока ты тут совсем не захирел.

— Это точно наша задача? — издевательски переспросил Илюха.

Борода наклонил голову, прищурил один глаз и насмешливо посмотрел на приятеля.

— Тебе пинок нужен, пендель. Иначе никогда не решишься. Вот тебе три оклада, компенсация за неиспользованный отпуск, которых у тебя аж целых два, плюс к тому, — Борода заглянул в свой красивый ежедневник с золотым обрезом, — кроме того, премия по итогам сезона. Таких условий ни у кого в вашей богадельне нет. Делай операцию и отправляйся в Харп. Благодарить будешь после первого полевого сезона. С тебя литр спирта на золотом корне.

Илюха смотрел на Бороду, слушал, как тот расписывает все преимущества нового его положения, смотрел, как подмигивает ему, похлопывает себя по коленям, потирает ладони.

Борода радовался. Борода действительно был счастлив как человек, сделавший доброе дело. И уже рассказывал, что сам все эти годы хотел вернуться, фантазировал, мол, приедет как-нибудь в отпуск, закажет вертолет, пролетит до самой гряды Чернышева, до берега реки Шарью и потом по лосиным тропкам, где по камушкам, где по березке, но от одной стоянки их партии до другой. «А там каркасы палаток, наверное, до сих пор стоят, они двадцать лет минимум стоят. И тропинки нами же во мху протоптаны. И вот так, от одной точки до другой, от одной стоянки партии в среднем течении Большой Сарьюги до следующей у столбов Шарью, по-

том от столбов до впадения Шарью в Усу, а оттуда до устья Заостренной и обратно вверх по течению».

Фантазировал, но так и не собрался. И теперь отправляет его, Илью, вместо себя в мечту, чтобы забросил Илья там якорь в самую глубокую яму петлявой северной реки, зацепился бы за тяжелый камень, поднапрягся бы да и вытащил их всех, как тащит богатырь Святогор народ, погрязший в тщете и горечи каждодневной пашни.

И уже напротив Илюхи сидел не сорокалетний прощелыга директор, с седеной, в дорогом пиджаке тонкой шерсти и золотыми запонками в крахмальных манжетах голубой итальянской рубашки. Нет. Это был мальчишка, которому он решил задание по математике на вступительном экзамене в университет. И мальчишка этот мечтал не о яхте и домике в Испании, а о том, чтобы проснуться утром где-нибудь в районе хребта Райиз, в натянутой на каркас брезентовой палатке, стряхнуть со спальника иней, разобрать запутанные петельки входа и, поднявшись в рост, увидеть, как на том склоне за ночь березка из желтой превратилась в ярко-красную.

— Ты меня слушаешь?

Только тут Илюха заметил, что Борода что-то увлеченно говорит.

— Прости?

— Говорю, может, и хрен с этим Питером? Оставайся там. Возьми в жены какую-нибудь поморочку из Чухчеремы или дочку прапорщика из Лабытнанг. Помнишь проводницу, что пустила нас на сто десятом? Огонь-девка! Как ее звали?

— Лариса.

— Ах, ну да. Опять Лариса. Кстати, Осаткина мне вчера звонила. Спрашивала, где ты вчера так нажрался, что не смог в квартире подняться. К Ваньке, что ли, шел?

Илюха кивнул.

— Она тебя в окно видела. Сказал, что, наверное, на футболе, а не поднялся, потому что вспомнил, что Ванька на практике.

Илюхе что-то почудилось во взгляде Бороды. Но лишь на мгновение. На такое малое, что не стоило и замечать. Но он заметил. Борода все знал. Конечно, он знал все. Может быть, от Ивана, может быть, от Лариски, а может быть, что от Осаткина, с кем состоял в электронной переписке. Все знают про всех. Так всегда. Можно скрыть мелочь и случайность, но нельзя спрятать целую жизнь. Они все знали друг про друга. И самое удивительно, что после того, что знали, продолжали дружить, помогать, звать на дни рождения. Словно все было дано единожды и ничего не позволено изменить. Ничего, кроме своих мыслей.

Дома Илюха достал расчетную ведомость, которую ему выдали днем в бухгалтерии, и переписал сумму в блокнот. Потом открыл деревянную шкатулку, куда откладывал деньги, посчитал, записал. Затем сложил стопочкой валюту, посмотрел в сети курс, помножил на счетной машинке и аккуратно вывел в столбик с предыдущими. Четвертая цифра обозначала остаток на банковском счете. Сложил все вместе и обвел получившееся значение в кружок.

Денег набиралось на операцию и частично на реабилитацию. Не хватало еще около полусотни. Можно было занять у того же Бороды. Илюха почему-то не сомневался, что Борода одолжит. Но вдруг его осенило.

Илюха полистал записную книжку, нашел нужный номер и позвонил.

— Привет, Геолог. Случилось что? — услышал он заспанный голос Колька.

Только тут Илюха заметил, что часы показывают без четверти два.

— Ради Бога, извини, — смутился Илюха, — я про абонемент. Тебе еще нужен?

— Конечно! — Колёк встрепенулся, — Три номинала отдам. А что, кто-то продает?

— Я продаю.

— Что вдруг? Ты же идейный.

— Именно по этой причине.

— Это вот... — Колёк замялся, — прости, я давеча наговорил тебе всякого. Издержался совсем, нервы ни к черту.

— Я и не заметил, — соврал Илюха.

— Ну, спасибо. И за абонемент спасибо. А в гости приходи, с меня причитается.

Они условились встретиться. Илюха попрощался и нажал на «отбой». За окном грохнул кузов самосвала, сгрузившего на набережной щебенку. Вдали завывла сирена на судне, проходящем по фарватеру между быков Большеохтинского моста. До конца навигации оставалось чуть больше месяца. Месяца полтора оставалось до снега и еще полвечности до весны, когда настанет пора, как и раньше, снова собираться в поле. Илюха подумал, что полвечности — это совсем немного. Это можно пережить.